

Камило Хосе Села «Семья Паскуаля Дуарте»

ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА

По-моему, пришла самая пора издать воспоминания Паскуаля Дуарте. Сделать это раньше значило б, пожалуй, проявить излишнюю поспешность; я, не хотел торопиться с их подготовкой к печати, потому что всякий труд, включая исправление орфографических ошибок в рукописи, требует времени, да вскачь, как говорится, и пахать без толку. Сделать это позднее было б, с моей стороны, ничем не оправданной проволочкой: раз труд закончен, он должен быть обнаружен.

Отыскав приводимые далее записки в середине 1939 года в одной из аптек Альмендралехо, где их оставила бог знает чья неведомая рука, я непрерывно с тех самых пор на досуге разбирал их и приводил в порядок, ибо отчасти из-за плохого почерка, отчасти из-за того, что найденные четвертушки листа не были пронумерованы и лежали не в идеальной последовательности, рукопись едва поддавалась прочтению.

С самого начала хочу со всей ясностью заявить, что мое участие в создании произведения, которое я предлагаю теперь любознательному читателю, ограничилось его перепиской; я не переправил и не добавил от себя ни единой буквы, желая сохранить в неприкосновенности даже стиль повествования. В некоторых чрезмерно грубых местах я предпочел воспользоваться ножницами и прибег к хирургической операции, что, естественно, лишает читателя возможности ознакомиться с некоторыми мелкими подробностями (не зная которых, он ничего не теряет), но зато имеет то преимущество, что избавляет его от интимных признаний отталкивающего свойства, которые, повторяю, я счел более уместным вырезать, нежели приглаживать.

Герой, на мой взгляд, являет собой единственный в своем роде пример поведения (только потому я и вытаскиваю его на свет божий) – пример не для подражания, а для избежания, пример, перед которым смолкает любое сомнение, пример, перед которым достаточно сказать: «Видишь, что он делает? Ну, так надо как раз наоборот».

Однако предоставим слово Паскуаля Дуарте – ему есть что порассказать нам интересного.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К РУКОПИСИ

Сеньору дону Хоакину Баррере Лопесу,

Мерида.

Глубокоуважаемый сеньор, Вы простите меня, что посылаю вам при этом письме, и без того длинном, мою длинную повесть, но потому как случилось, что

из друзей дона Хесуса Гонсалеса де ла Ривы (бог да простит его, как, не сомневаюсь, сам он простил меня) вы единственный, чей адрес мне запомнился, я решил отправить ее вам, чтобы от нее избавиться, а то при одной мысли, что я написал ее, меня в жар кидает, и в худую минуту, которых, по воле бога, перепадает мне ныне много, я могу ее выбросить и тем лишить иных людей возможности крепко-накрепко затвердить себе то, что сам я узнал, когда было уже поздно.

Немного поясню вам, в чем дело. Поскольку для меня не тайна, что, на беду мою, поминать меня будут больше лихом, и мне хочется облегчить, насколько возможно, мою совесть открытой исповедью, а это довольно тяжелый вид покаяния, я решил рассказать из моей жизни что помню. Память у меня никогда не была особо крепкая, и легко может стать, что многое, даже интересное, я перезабыл, но, несмотря на это, я положил рассказать все, что не выветрилось из головы и не отказалась писать рука, а было еще и другое, и я пытался его описать, но на душе у меня стало так муторно, что я предпочел о нем умолчать и позабыть навсегда. Принимаясь за такие записки, я хорошо понимал, что настанет в моей жизни событие, описать которое я никак не смогу, – это моя смерть, да сделает господь ее быстрой; над этим вопросом поломал я голову немало и – готов поклясться вам жалким остатком жизни – не раз боялся лишиться чувств оттого, что рассудок не давал мне ответа, на чем же мне поставить точку. Я надумал, что лучше всего начать, а развязку возложить на бога – когда он руку мою остановит, тогда и ладно, – и так я и сделал; и вот сегодня, чувствуя, что мне уже опостылела вся эта прорва бумаги, заполненной моей болтовней, я окончательно бросаю писать и предоставляю вам самому докончить в воображении мою жизнь – докончить ее вам будет нетрудно, поскольку, помимо того, что жить мне заведомо осталось недолго, не думаю, чтоб в этих четырех стенах со мной приключились новые важные события.

Когда я начинал составлять то, что вам теперь посылаю, меня терзала мысль, что кто-то уже знает, завершу я мою повесть или нет и на каком месте прерву ее, если неверно рассчитаю время, и эта уверенность, что волей-неволей все мои действия пойдут по заранее известной колее, прямо сводила меня с ума. Теперь, стоя ближе к порогу иной жизни, я смиреннее. Да удостоит меня господь своего прощения.

Рассказав все пережитое, я замечаю в себе какую-то успокоенность, и бывает, что даже совесть мучает меня меньше.

Верю, что вы поймете и то, о чем лучше говорить вам не стану, потому что лучше того не знать. Сожалею теперь, что сбился с пути, но в этой жизни прощения не прошу. Зачем? Может, оно и к лучшему, если со мной сделают что намечено, не то я, всего вероятнее, опять примусь за старое. Не хочу просить о помиловании: слишком много зла усвоил я из жизни и чересчур слаб, чтоб противиться инстинкту. Пусть свершится то, что записано в небесной книге.

Примите, сеньор дон Хоакин, вместе с посылкой мои извинения, что побеспокоил вас, и не откажите в мольбе о прощении, с которым обращается к вам, как к самому дону Хесусу, ваш покорный слуга Паскуаль Дуарте,

Бадахосская тюрьма, 15 февраля 1937 года

ПУНКТ ИЗ СОБСТВЕННОРУЧНОГО ЗАВЕЩАНИЯ ДОНА ХОАКИНА БАРРЕРЫ ЛОПЕСА, КОТОРЫЙ УМЕР БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ, ЗАВЕЩАВ ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО МОНАХИНЯМ ОРДЕНА ДОМАШНЕГО УСЛУЖЕНИЯ.

4. Приказываю лежащие в ящике моего письменного стола бумаги в перевязанном шпагатом пакете с надписью красным карандашом «Паскуаль Дуарте», не читая, незамедлительно предать огню как подрывные и противные добрым нравам. Тем не менее если провидение распорядится так, что указанный пакет, без чьего-либо злонамеренного вмешательства, в течение 18 месяцев не будет сожжен согласно моему желанию, приказываю тому, кто его найдет, не уничтожать его, а взять себе в собственность и поступить с ним по своему усмотрению, если оно не противоречит моей воле.

Дано в смертный час в Мериде (Бадахос)

11 мая 1937 года.

Памяти славного аристократа дона Хесуса Гонсалеса де ла Ривы графа Торреме-хийя, который, принимая смерть от руки автора, назвал его голубчиком и улыбнулся.

П. Д.

(1)

Я, сеньор, не злой человек, хотя озлобиться причины у меня были. Все мы, смертные, в той же самой шкуре родимся, однако, покуда растем, судьба удовольствия ради изменяет нас так или эдак, будто мы из воска, и разными путями направляет к единому концу – смерти. Одним велено шествовать по дороге, устланной цветами, других посылают продираться сквозь чертополох и колючки. Те глядят безмятежно и, как младенцы, улыбаются запаху своего счастья, а эти страдают от палящего солнца равнины и, чтоб кто не тронул, щерятся, как мелкое зверье. Большая разница – натираться румянами да одеколоном или разукрашивать себя татуировкой, которую ничем не сотрешь.

Родился я тому назад уже много лет – пятьдесят пять но крайней мере – в деревне, затерянной в провинции Бадахос; деревня стояла в двух лигах от Альмендралехо, приткнувшись к проезжей дороге, гладкой и длинной, как день

без хлеба, гладкой и длинной – на ваше счастье, этой глади и этой длины вы и представить себе не можете, – как дни смертника.

Деревня была жаркая, открытая солнцу, весьма обильная оливами и – с вашего позволения – свиньями, с такими белыми домами, что от одного воспоминания глазам больно, с площадью, замощенной плитами, с красивым фонтаном на три трубки посреди площади. К тому времени, как я покинул деревню, вода из отверстий не была уж несколько лет, и, однако, каким благородным, каким изящным казался всем нам этот фонтан, украшенный фигурой голого мальчика, весь в завитках наподобие цветов розмарина по краю бассейна! На площади стояла управа, большая и квадратная, как ящик из-под табака, с башней на крыше, а на башне были часы, белые, как причастная облатка, и всегда показывали девять, будто их повесили для красоты, а не для дела. Дома в деревне, само собой разумеется, были и хорошие, и плохие; плохие, как водится, преобладали. Единственный дом в два этажа – дом дона Хесуса – радовал глаз верандой в изразцах и цветочных горшках. Дон Хесус вообще очень любил растения и, сдается мне, наказал домоправительнице ходить за геранями, гелиотропами, пальмами да мя-той, как за малыми детьми: старуха вечно сновала с ковшиком и заботливо их поливала, что, несомненно, шло им на пользу – такие они были пышные и зеленые. Дом дона Хесуса тоже стоял на площади и, странное дело, – при богатстве-то хозяина, не скупившегося на траты, – отличался от остальных домов не только в хорошую сторону, как я сказал уже, но и в худую – фасад у него был цвета камня как он есть (что очень простит), а не беленый, как у всех, даже самых бедных домов, но дон Хесус, верно, имел на то свои причины. Над входом красовались каменные гербы большой, как говорят, ценности, увенчанные головами древних воинов в шлемах с перьями; головы глядели одна на восток, другая на запад как бы в знак того, что караулят дом от опасности, которая может оттуда прийти. За площадью, примыкая к дому дона Хесуса, стояла церковь с каменной колокольней и колоколом, звонившим по-особенному; опи-са этот звон не берусь, хотя слышу его так явственно, будто он идет из-за угла. Колокольная башня была той же высоты, что и часовая, но аисты, прилетая, знали, на какой они провели прошлое лето: хромым аист, переживший у нас две зимы, был из гнезда над церковью – он вывалился оттуда птенцом, испугавшись ястреба.

Мой дом стоял за околицей, примерно в двухстах широких шагах от самой деревни. Был он узкий и – сообразно моему общественному положению – одноэтажный, но я привязался к нему и бывало даже им гордился. Собственно говоря, единственным в доме, на что стоило глядеть, была кухня – первое, что открывалось глазам при входе. Всегда чистая, тщательно выбеленная, с полом хоть и земляным, но плотно утопанным и в узорах из камешков, она ничем не уступала кухням многих других домов, хозяева которых заливали пол цементом, считая, что так современнее. Очаг был широкий и просторный, а вокруг колпака, по краю шла полка с нарядной посудой: памятными кувшинами, расписанными голубой краской, и тарелками с голубыми или желтыми рисунками – на одних изображено лицо, на других цветов, или рыба, или какое-нибудь имя. По стенам

висели разные вещи: очень красивый календарь с картинкой – девушка с веером на палубе корабля, а под ней подпись, наведенная как бы серебряным порошком: «Модесто Родригес. Высококачественные колониальные товары. Мерида (Бадахос)»; цветной портрет Эспартеро[1] в парадном мундире; три или четыре фотографии – одни маленькие, другие обычного размера – не знаю чьи: всю жизнь видел их на том же месте и потому мне в голову не приходило спросить. Еще висели у нас будильник, да не просто так – ходил он исправно, и красная бархатная подушечка, в которую были воткнуты красивые булавки с разноцветными стеклянными головками. Мебель на кухне была простая и скучная – три стула (один из них очень хорошего качества, со спинкой и ножками гнутого дерева и плетеным сиденьем) и сосновый, с ящиком, стол, который для стульев был низковат, но свое назначение выполнял. На кухне было уютно и удобно: летом, когда мы не топили и под вечер, раскрыв настежь двери, садились на камень очага, – прохладно, зимой тепло от углей, которые, если их хорошо уложить, иногда сохраняли жар всю ночь напролет. Занятно бывало смотреть на наши тени на стенке, когда по углям пробегали огоньки! Огоньки появлялись и исчезали, одни медленно, другие подпрыгивая, точно играли. Помню, в детстве я их боялся и даже теперь, взрослым, вздрагиваю, припоминая свои тогдашние страхи.

Остальное в доме не стоит труда описывать – такое все было простое и грубое. Помимо кухни, имелись две жилые комнаты, если называть их жилыми только за то, что в них жили, – других оснований нету, и конюшня, которая стояла по большей части пустая и заброшенная, так что теперь уж и не знаю, за что мы называли ее конюшней. В одной комнате спал я с женой, в другой мои родители, пока бог или, может, дьявол их не прибрал; с тех пор она почти всегда пустовала – сперва в ней некому было жить, а после жилец отыскался, да предпочел кухню, где было светлей и не дуло. Сестра, приезжая домой, спала только на кухне, и детишки, когда я обзаводился ими, едва сойдя с материнских рук, тянулись туда же. Оно верно, комнаты были не очень-то чистые и устроенные, но, по правде сказать, и жаловаться не приходилось – от рождественских туч и успенского зноя по мере возможности они укрывали, а это главное. Конюшня была хуже всего – темная, мрачная, стены пропитаны запахом мертвечины, какой разносился со свалки в мае, когда скотина начинала плодить падаль воронью на кормление.

Удивительное дело, но смолоду, разлучаясь с этим запахом, я впадал в тоску прямо смертную. Помню, когда ездил в столицу провинции на рекрутский набор, в дороге мне весь божий день было не по себе – я обнюхивал воздух, как охотничий пес. На постоялом дворе, ложась спать, я понюхал свои плисовые штаны, и кровь горячей волной прошла у меня по всему телу. Я сдвинул подушку в сторону и лег головой на штаны, сложив их вдвое. В ту ночь я спал как убитый.

В конюшне мы держали тощего, клячеватого осла для работ, а когда дела складывались неплохо, что, откровенно сказать, бывало не всегда, еще пару-тройку, извиняюсь, свиней. За домом у нас был загон в виде пристройки, не очень большой, но по нашему хозяйству достаточный, и в нем колодец, который со

временем пришлось мне закупорить, потому что вода из него шла очень нездоровая.

Позади загона лежал проточный пруд, пересыхавший иногда наполовину и до краев никогда не заполнявшийся, грязный и вонючий, как цыганский табор; в нем ловились недурные угри, и вечерами я порой занимался этим от нечего делать. Жена моя, несмотря ни на что остроумная, говаривала, что угри жирны оттого, что едят то же, что и дон Хесус, только днем позже. Когда находила на меня блажь поудить, часы пролетали так незаметно, что собирать манатки спохватывался я обычно уже в темноте. Вдали, как приземистая широкая черепаха или свернувшаяся в клубок змея, что боится оторваться от земли, зажигал свои электрические огни Альмендралехо. Его жителям и невдомек было, что вот я поудил рыбу и теперь смотрю, как зажигаются огни в их домах, да еще воображаю себе, как многие из них говорят то, что приходит мне в голову, или рассуждают о том, о чем размышляю я сам. В городах люди живут спиной к правде, они зачастую не подозревают, что в двух лигах от города, посреди равнины, деревенский человек может развлекаться мыслями о них, сматывая удочку и подбирая с земли корзинку с полдюжиной угрей!

Однако рыбная ловля мне всегда казалась занятием, мало подходящим для мужчины, и свой досуг я по большей части посвящал охоте. В деревне я считался охотником не из последних, и, сказать без ложной скромности, те, что так думали, не заблуждались. У меня была легавая сучка Искра, хитрая и свирепая, но меня слушалась отлично; с ней по утрам я часто хаживал на болото – за полторы лиги от деревни в сторону португальской границы, и мы никогда не возвращались домой порожними. На обратном пути собака убегала вперед и поджидала меня на развилке, где лежал круглый сплюснутый камень вроде низкой табуретки, о котором вспоминаю я тепло, как о человеке, и безусловно с большим удовольствием, чем о многих людях. Был он широкий, с небольшой впадиной; когда я садился, моя, извиняюсь, задница соскальзывала в ямку и так удобно в ней располагалась, что жаль бывало вставать; я подолгу просиживал на камне у развилки, поставив ружье между колен, свистел, глядел по сторонам, курил самокрутки. Сучка садилась напротив и, склонив голову набок, смотрела на меня карими, очень смышленными глазками; я заговаривал с ней, а она, как бы для того, чтоб понять меня лучше, слегка настораживала уши; когда я умолкал, она вскакивала побегать за кузнечиками или просто меняла позу. Уходя, я всегда, сам не знаю почему, вроде бы на прощание, оборачивался к камню, и вот однажды мне показалось, он так опечалился моим уходом, что я не выдержал – вернулся и сел снова. Собака устроилась напротив и уставила на меня глаза; теперь-то я понимаю, что взгляд у нее был, как у исповедника – пытливый, холодный, что называется рысией... По всему моему телу пробежала дрожь, будто какой-то ток силился выйти из меня через руки. Самокрутка моя давно погасла, ружье-одностволка, которое я медленно поглаживал, стояло между колен. Собака упорно не сводила с меня глаз, как будто видела впервые или вот-вот собиралась в чем-то обвинить; от ее взгляда кровь в моих жилах так горела, что я чувствовал

приближение минуты, когда вынужден буду сдать; мне было жарко, ужасно жарко, и глаза сами опускались под острым взглядом твари.

Я поднял ружье и выстрелил, перезарядил и выстрелил снова. Кровь у собаки была темная и вязкая, она постепенно расплзлась по земле.

(2)

О детстве у меня сохранились не очень приятные воспоминания. Отца моего звали Эстебан Дуарте Динис, и был он португалец, в возрасте уже за сорок в пору моего младенчества, высокий и толстый, как гора. У него была темная от солнца кожа и огромные черные усы, загнутые книзу. В молодости, говорят, концы их торчали кверху, но после отсидки в тюрьме, где с него посбили спесь, сила в усах ослабла, и он так до могилы и носил их обвислыми. Я его весьма почитал и сильно побаивался, сторонился, как только мог, и старался не попадаться ему под ноги; был он суров и резок и не терпел, чтоб ему перечили, – прихоть, которую я уважал в своих же интересах. Приходя в ярость, что случалось с ним чаще, чем стоило, он за что попало колотил мать и меня; мать давала ему сдачи, надеясь его образумить, мне же, учитывая мои малые годы, оставалось только смиряться. В юном возрасте тело очень чувствительное!

Ни самого отца, ни мать я не смел расспрашивать про то время, когда его посадили, считая, что собак, которые и без того кидаются чаще обычного, благоразумнее не дразнить. Но само собой ясно, что, по сути дела, мне и нужды не было о чем-то спрашивать, – нашлись люди (доброхоты всегда сыщутся, особенно в местечках с таким малым числом населения), которые поспешили все мне выложить. Отца взяли за контрабанду; видимо, он промышлял ею много лет, но уж коль повадился кувшин но воду – сложить ему голову, и, потому как нет промысла без изъяна, а где сладко, там и падко, в один прекрасный день, когда он заведомо всего меньше того ждал – храбрецов губит самонадеянность, – пограничники выследили его, захватили с грузом и упекли в тюрьму. Все это, надо полагать, было очень давно, потому что сам я ничего такого не помню; наверно, меня еще и на свете не было.

Моя мать в противоположность отцу дородством не удалась, хотя рост имела очень хороший; была она длинная и сухопарая и с виду не отличалась крепким здоровьем, даже наоборот – лицо цветом точно лимон, щеки впалые и вся внешность такая, что не поймешь – то ли чахотка у нее, то ли вообще она долго не протянет. К тому же была она крута и неистова, нрав имела дьявольский, и дай бог, чтоб на том свете ей не досталось за язык, потому что ругалась она последними словами то и дело и по любому вздорному поводу. Ходила она всегда в черном и с водой не дружила, до того не дружила, что, сказать откровенно, за всю мою жизнь я только один раз видел, как она умывалась – и то потому, что отец обозвал ее пьяницей, а она хотела доказать ему, что не боится воды. Зато к вину такого отвращения у нее не было, и, спроворив монету-другую, а то и вытряхнув их из мужнего жилета, она непременно посылала меня в кабачок за бутылкой и прятала ее под кроватью, чтоб не добрался отец. В уголках губ у нее

росли седые усики, а жесткую всклокоченную шевелюру она убирала в пучок – не очень большой – на затылке. Вокруг рта были заметны рубцы, или метки, маленькие и розовые, как следы дроби, оставшиеся, я думаю, от дурных прыщей, которые были у нее в молодости; летом они иногда оживали, разгорались цветом и наливались гноем с булавоочную головку, а осенью жухли и зимой сходили совсем.

Мои родители промеж себя жили плохо; как люди малообразованные, не имея к тому же особых достоинств и склонности поступать так, как велит господь (недостатки, которые, на беду мою, все перешли ко мне по наследству), они очень мало заботились о соблюдении заповедей и обуздании инстинктов, а это вело к тому, что по любому самому мелкому поводу у нас поднималась буря и не затихала по многу дней кряду – бывало, конца ей не видно. Я, как правило, ничьей стороны не держал, потому что, сказать откровенно, мне было безразлично, кто возьмет верх; порой я радовался, что отец вздул мать, порой – что мать вздула отца, но никогда не считал это вопросом жизненной важности.

Мать не умела ни читать, ни писать, отец умел и так этим гордился, что напоминал ей про то семь дней на неделе и часто, хоть и некстати, обзывал ее неграмотной дурой – тягчайшее оскорбление для моей матери, от которого она свирепела, как дракон. Случалось, отец приносил домой газету и, хотели мы или нет, сажал нас обоих на кухне и читал вслух последние известия; известия затем обсуждались, и вот тут на меня нападала дрожь, потому что обсуждения неизменно кончались потасовкой. Мать назло отцу говорила, что ничего этого в газете нет и что он все выдумал, а отец от ее слов выходил из себя – орал как полоумный, обзывал ее неграмотной дурой и ведьмой и никогда, бывало, не забудет громовым голосом добавить, что, умей он говорить как по-писаному, черта с два он бы на ней женился. И тут поднималось: мать ругала его грубым мужиком и мерзавцем, честила голодранцем и португа-лишкой, а он снимал ремень, будто дожидался только этого слова, и гонял ее по кухне, покуда не надоест. На первых порах мне тоже перепало ремнем разок-другой, но, став опытнее и усвоив, что не надо лезть под дождь, коли не хочешь вымокнуть, я, стоило мне завидеть, что дело принимает скверный оборот, убегал, оставляя их наедине. Пускай разбираются сами.

Что и говорить, жизнь у нас в семье была не очень-то радостная, но раз уж выбирать нам не дано и еще до рождения одним назначена одна участь, а другим другая, я старался приноровиться к тому, что выпало на мою долю, – это ведь единственный способ не отчаяться. В детстве, когда воля человека всего податливее, меня недолгое время посылали в школу; отец говорил, что борьба за существование очень сурова, к ней надо готовиться и единственное оружие, с помощью которого жизнь можно одолеть, – это оружие ума. Все это он выпаливал одним духом, как заученное, и в такие минуты голос его смягчался и приобретал неожиданные для меня оттенки. Потом, словно раскаиваясь, он принимался громко хохотать и, отсмеявшись, говорил почти что ласково:

– Не слушай меня, сынок. Я старею!

Он задумывался и тихо повторял, раз и еще раз:

– Старею! Старею!

Мое школьное образование продолжалось недолго. Отец имея, как я сказал, характер буйный и властный, в иных делах был слаб и малодушен; я вообще заметил, что характер он проявлял только по пустякам, а в важных вопросах – не знаю, из робости или еще почему, – редко настаивал на своем. Мать не хотела, чтобы я ходил в школу, и по всякому поводу, а то и без повода твердила мне, что жить в бедности – ученья не надо. Ее слова упали на тучную почву – меня самого сидеть на уроках не прельщало, и вдвоем мы – да еще время нам подсобило – убедили в конце концов отца, чтоб он разрешил мне бросить занятия. Я умел читать и писать, знал сложение и вычитание и, если разобраться, к самостоятельной жизни был вполне подготовлен. Когда я бросил школу, мне было двенадцать лет, но не будем забегать вперед – всякое дело любит порядок, и оттого, что мы встанем до зари, солнце раньше не подыметя.

Я был еще довольно мал, когда родилась сестра Росарио. То время помню я неясно и смутно и не знаю, до какой степени верно передам это событие; попробую, однако, и думаю, что, даже если мой рассказ погрешит неточностью, он все равно будет ближе к истине, чем любой ваш домысел, основанный на чистом воображении, что называется – сляпанный на глазок. Помню, что день, когда родилась Росарио, был жаркий – стоял, должно быть, июль или август. В пересохших полях ни ветерка, визжат цикады, будто хотят пропилить землю насквозь; люди и скотина попрятались; в вышине господином ходит солнце, все освещает, все палит... Мать моя рожала всегда очень трудно и болезненно; она страдала женским недугом, телом была суха, и боль превышала ее силы. Примером добродетелей и достоинств бедняга никогда не была, переживать молча, как я, не умела, и оттого у нее все выходило криком. Покуда Росарио родилась, она прокричала несколько часов – в довершение своих бед рожала она подолгу. Говорит же пословица: баба с усами, что подолгу рождает... (вторую половину пословицы не пишу из внимания к очень высокой особе, которой эти строки предназначаются). Повитухой у матери была женщина из деревни – сеньора Энграсия с бугра, дока по хворям и родам, вроде бы колдунья и вообще какая-то таинственная; она принесла с собой снадобья и накладывала матери на живот, чтоб облегчить боль, но мать и с мазью, и без мази вопила что было мочи, и сеньора Энграсия, не зная, что делать, принялась срамить ее безбожницей и нехристью; тут вопли матери понеслись шквалом, и я подумал, а не одержима ли она и впрямь бесом. Мое сомнение длилось недолго – скоро выяснилось, что причиной неслыханного крика была моя новая сестра.

Отец давно уже вышагивал по кухне. Когда Росарио родилась, он кинулся к постели матери и, невзирая на обстоятельства, стал ругать ее лентяйкой и притворщицей и с такой силой лупить ременной пряжкой, что я до сих пор удивляюсь, как он не измолотил ее заживо. Потом он ушел и двое суток не показывался; вернулся пьяный в стельку, подошел к кровати и поцеловал мать – мать не отворачивалась... Потом пошел спать в конюшню.

(3)

Колыбельку для Росарио устроили из ящика, не очень глубокого, вытряхнув на дно целую подушку шерсти; Росарио лежала в нем рядом с постелью матери, обернутая в полотняные свивальники и так плотно накрытая, что я все опасался, как бы она не задохлась. До той поры я – не знаю уж почему – представлял себе маленьких детей белыми, как молоко, и отлично помню, какое неприятное впечатление произвела на меня сестренка, липкая и красная, как вареный рак; на голове у нее рос редкий пух, как на скворчатах или голубятах – со временем он вылез, – а ручки были перетянутые и стиснутые до синевы, так что брала оторопь. Когда через три-четыре дня сестренку распеленали обмыть немного, я оглядел ее внимательно и должен сказать, на этот раз она вызвала во мне меньше отвращения: кожа у ней посветлела, глазки не открывались еще, но казалось, что веки вот-вот подымутся, и даже руки с виду как будто обмякли. Сеньора Энграсия – какая она там ни была, но в нужде всегда пособляла – начисто вымыла ее розмариновым настоем, опять завернула в свивальники – те, что почище, а сильно замаранные убрала в стирку, и убоготоренный младенец заснул так крепко, что по тишине у нас в доме никто б не догадался, что тут были роды. Отец садился на пол у ящика и часами глядел на дочку – точно влюбленный, говорила сеньора Энграсия; я даже забывать стал про его истинный нрав. Посидев, он подымался и шел пройтись по деревне; возвращался для нас неожиданно, в необычный для него час, и снова подсаживался к ящику – лицо такое кроткое, а взгляд до того смиренный, что, не зная его, иной подумал бы, чего доброго, что перед ним сам святой Рох.

Сестренка росла хиленькой, заморенной – откуда ей взять силы, если у матери груди пустые! – и на первых порах была так плоха, что несколько раз чуть не померла. Отец горевал, что дитя чахнет, а всякое горе размыкивал он вином, так что нам с матерью одно время пришлось куда как несладко, и мы тужили по прошлому, которое казалось нам таким суровым, покуда мы не узнали худшего. Люди всегда так – что имеют не хранят, а потерявши, плачут! Матери, которая после родов стала слабей здоровьем, доставались знатные взбучки, а мне, если я подвергивался, хоть поймать меня было нелегко, небрежные пинки, от которых порой у меня, извиняюсь, из задницы текла кровь, а на ребрах оставались метки, будто припечатанные каленым железом.

Девочка помаленьку выправилась и окрепла от супов на красном вине, которыми моей матери присоветовали ее кормить, и, хоть выучилась ходить позднее, чем это обычно бывает, но от природы шустрая – а время брало свое, – совсем еще малышкой заговорила так легко и бойко, что мы надивиться не могли на ее проворство.

Эта пора, когда все детишки одинаковые, миновала. Росарио подросла – скоро невеста; приглядываясь к ней, мы всякий раз замечали, что она смекалистей ящерицы, а в семье у нас никто сроду не шевелил мозгами, хоть они на то и даны нам, и потому девочка быстро сделалась в доме царицей, мы ж у ней по струнке

ходили. Если б она от природы тянулась к хорошему, из нее вышел бы толк, но бог, как известно, не пожелал, чтоб кто-нибудь из нас отличился добрыми наклонностями, и она направила свой ум на иные надобности. Скоро нам стало ясно – хоть она и не дура, лучше бы ей быть душой. На все ее хватало, да только не на хорошее: воровала ловко и сноровисто – в пору старой цыганке, рано пристрастилась к выпивке, сводничала старухе в ее шашнях; наставить ее на верный путь и применить к доброму делу ее ясную голову было некому, катилась она все ниже и ниже и в один прекрасный день – было ей тогда четырнадцать лет, – прихватив из дому то малое, что имело ценность, сбежала в Трухильо и устроилась в заведение Эльвиры. Можете себе представить, какое действие произвел ее побег у нас в доме: отец винил мать, мать винула отца... Сильней всего ее отсутствие сказало на отцовских привычках: раньше, когда она жила дома, он старался у ней на глазах не буянить, теперь же, от нее вдалеке, любое место и любой час были ему хороши, чтоб затеять безобразие. Любопытно, что мой отец, с которым по грубости и упрямству могли тягаться очень немногие, единственно ее и слушался; одного взгляда Росарио довольно было, чтобы утих его гнев, и не раз только ее присутствие и спасало нас от увесистых тумачков. И кто бы подумал, что этого здорovenного мужика усмирят слабый ребенок!

В Трухильо она протянула пять месяцев, по прошествии которых полумертвая, в лихорадке, вернулась домой и отлежала в постели около года – лихорадка, свойства злокачественного, чуть не свела ее в могилу, и по настоянию отца – хоть он был пьяница и забияка, но из старого христианского рода и строго соблюдал обряды – ее соборовали и приготовили в последний путь. У недуга, как водится, были свои повороты, и за днями, когда больная вроде оживала, наступали ночи, когда все мы ждали конца; родители ходили мрачные, и единственно, помню, чем было покойно в то печальное время, – несколько месяцев наши стены не слышали затрещин; вот до чего старики приуныли!.. Соседки наперебой предлагали поить сестру травами, но мы всех больше доверяли сеньоре Энграссии и за исцелением Росарио обратились к ней и ее советам; зелье она велела пить ей бог знает какое мудреное, но готовилось оно добросовестно и оттого, надо думать, и пошло ей на пользу – здоровье у нее явно, хоть и медленно поправлялось. Худая трава живуча, говорит пословица (этим я не хочу сказать худое про Росарио, хоть за ее добродетель руку в огонь не положил бы), – попивши отваров, какие наказала сеньора Энгра – сия, оставалось только выждать время – и к сестре вернулось здоровье, а с ним красота и задор.

Но не успела она поправиться, а родители повеселеть – кроме беспокойства за дочку, у них ни в чем не было согласия, – как снова пустилась во все тяжкие: прикарманила отцовские сбережения и без поклона – что называется по-французски – улетела; на этот раз подалась в Альмендралехо и устроилась у Ньевес-Мадридки. Конечно, и у самого отпетого негодяя в душе всегда остается что-то хорошее, во всяком случае, я так считаю, потому и Росарио насовсем нас не забыла, присылала, случалось, на именины или рождество какой-нибудь жилетик – нужен он был нам, как кушак после сытного обеда, но все же тем дорог, что сама она, пышно наряжаясь по роду занятий, в роскоши, надо сказать, не купалась. В

Альмендралехо она сошлась с человеком, который ее погубил; погубил не честь, к тому времени давно погубленную, а кошелек – единственное, что ей, потерявши честь, оставалось блюсти. Звали того типа Пако Лопес, по кличке Щеголь, и должен признать, что был он видный малый, хоть и глядел в неопределенном направлении – у него один глаз был стеклянный, на месте своего, потерянного бог весть при каком подвиге, и оттого взгляд его сбивал с толку даже тех, кого смутить нелегко; роста был высокого, рыжеватый, поджарый и вышагивал так фасонисто, что первый, кто прозвал его Щеголем, можно сказать, угодил в самую точку; лучшего занятия, чем лицом промышлять, не имел – раз женщины по своей глупости его содержат, он предпочитал не работать, но, может, я потому считаю это дурным, что самому случай не подвернулся. Рассказывают, в былое время он выступал на андалузских площадях с молодыми быками; не знаю, верить тому или нет, – мне он казался храбрым только с женщинами, но так как они, и моя сестра в их числе, верили ему слепо, жил он припеваючи – вы же знаете, в какой цене у женщин тореро. Однажды, ходя на куропатку к Зарослям (имению дона Хесуса), я повстречал его на прогулке в глухом месте, за полтыщи шагов от Альмендралехо, разряженного, как картинка, – кофейная тройка, козырек, в руке прут. Мы поздоровались; он, продувная шельма, видя, что про сестру я не спрашиваю, так и тянул меня за язык, чтоб подковырнуть, но я не поддавался, и он, должно быть, заметив, что мне не по себе, уже когда подали друг другу руки и собрались расходиться, кинул безо всяких обвиняков и как бы невзначай:

– А как Росарио?

– Тебе лучше знать...

– Мне?

– Брось! Будто не знаешь!

– Откуда мне знать?

Он сказал это так серьезно, что иной подумал бы – человек в жизни не соврал; мне тяжело было говорить с ним о Росарио, вы меня понимаете.

Он похлестывал прутиком кусты чебреца.

– Ну, что ж, если хочешь знать, она жива-здорова! Ты хотел про это знать, верно?

– Послушай-ка, Щеголь! Я не баба, языком не треплю... Ты не дразни меня! Ты меня не дразни!

– А чем я тебя дразню? Что ты хочешь знать про Росарио? И что тебе за дело до Росарио? Сестра она тебе? Ну так что? А у нас с ней, коли на то пошло, любовь!

В словах он меня побивал, но дойди до дела, клянусь вам моими покойниками, я убил бы его раньше, чем он ко мне прикоснулся. Я решил – надо поостыть, потому что знал свой характер, да мужчинам и не подобает драться, если у одного ружье, а у другого нет.

– Послушай-ка, Щеголь, кончим этот разговор. Любовь? Ладно, пускай! Мне– то что?

Щеголь смеялся; похоже, он хотел драки.

– Знаешь, что скажу тебе?

– Ну.

– Если б ты гулял с моей сестрой, я б тебя убил!

Богу известно, что смолчать в тот день стоило мне здоровья, но я не хотел с ним драться, почему – не знаю. Меня удивило, что со мной так разговаривают: в деревне никто б не посмел сказать мне и половины того, что сказал он.

– А если увижу когда, что ты за мной ходишь, убью посреди площади при всем народе.

– Ну, это ты загнул!

– Заколю.

– Послушай-ка, Щеголь!..

С того дня засел у меня в боку шип и сидит до сих пор.

Почему я его сразу не вырвал, и сейчас не знаю. Прошло время, и в другой свой наезд к нам – новую лихорадку лечить – сестра мне рассказала, чем кончился тот разговор. Щеголь, зайдя вечером к Ньевес повидать Росарио, отозвал ее в сторону:

– А братец-то у тебя не мужчина, а тряпка!

– Услышит голос, жметяся как заяц.

Сестра за меня вступилась, но что проку – он взял верх. Взял надо мной верх в единственном бою, где я был разбит, потому что отказался вести его своими средствами.

– Ладно, детка, поговорим о другом. Сколько у тебя?

– Восемь песет.

– Это все?

– Все. Что ты хочешь? Времена тяжелые!

Щеголь хлестал ее прутиком по лицу, пока не надоело. А потом:

– А братец-то у тебя не мужчина, а тряпка!

Сестра упростила меня ради ее здоровья остаться в деревне. Шип в боку как разбередили. Почему я его сразу не вырвал, и сейчас не знаю...

Вы извините меня за нескладный рассказ – то, что я иду в нем от человека, а не от порядка событий, заставляет меня скакать, будто саранчу под палками – из начала в конец и от конца к началу; но даже пиши я как угодно иначе, он все равно был бы нескладный по той причине, что я веду его как выходит и вздумается и не пытаюсь строить в виде романа – у меня бы и не получилось, а главное, ему бы вечно грозила опасность, что, начав говорить, я заговорюсь и так увязну и застряну, что не буду знать, как и выбраться. Над нами, как над всеми людьми, шли годы; жизнь в моем доме текла обычным путем, и, не желая присочинять, я мало что могу поведать вам о той поре, чего бы вы не вообразили и сами.

Спустя пятнадцать лет после рождения дочки, когда никто не мог и помыслить, что мать родит нам братца – до того она была тоща и столько миновало времени, – старуха обзавелась животом (и как знать от кого, поскольку подозреваю, что она довольно долго уже путалась с сеньором Рафаэлем), так что хочешь не хочешь через положенный срок надо было ждать прибавления семейства. Рождение бедного Марио – так мы называли нового братца – было во всех отношениях несчастное-и беспокойное: мало того что мать в родах буянила, в довершение они еще совпали со смертью отца, которая – размышляя хладнокровно – могла бы насмешить, если бы не была такой трагической. Когда Марио появился на свет, отец у нас уже два дня как сидел запертый в чулане: его укусила бешеная собака, и, хоть сперва казалось, что болезнь к нему не пристала, позже на него напала трясучка, которая всех нас насторожила. Сеньора Энграсия сообщила нам, что от его взгляда мать – skinet, и, не имея другого выхода, мы с помощью соседей и со всяческими предосторожностями – он так кусался, что, подвернись ему чья рука, отхватил бы всю руку, – ухитрились, его запереть. До сих пор вспоминаю те часы с болью и страхом... Боже, с каким трудом нам удалось с ним совладать! Он брыкался, как лев, клялся, что всех нас перебьет, и таким огнем горели его глаза, что, без сомнения, если бы господь допустил, он исполнил бы свою клятву. Сидя взаперти, как я сказал, уже два дня, он так вопил и колотил ногами в дверь, которую пришлось подпереть бревнами, что я не удивляюсь, почему Марио, перебудораженный еще и криками матери, родился на свет запуганный и как бы идиот; замолчал отец на другой день вечером – это был день поклонения волхвов, и мы, поняв, что он кончился, пошли тащить его из чулана и тут увидели, что он лежит на полу с выражением ужаса на лице, словно попал в преисподнюю. Я немного испугался, когда мать при виде трупа с выпученными и налитыми кровью глазами и приоткрытым ртом, из которого наполовину торчал багровый язык, засмеялась, а не заплакала, как я ожидал, и мне ничего не оставалось, как подавить подступившие слезы. Когда его хоронили, священник дон Мануэль, увидев меня, завел со мной душеспасительную беседу. Многого из того, что он сказал, не упомяну, но речь шла о загробной жизни, небесах и преисподней; деде Марии и памяти отца, и, когда относительно отца я сказал, что лучше его совсем не вспоминать, дон Мануэль, погладив меня по голове, ответил, что смерть переносит людей из одного царствия в другое и очень ревнует, если мы ненавидим то, что она унесла

на божий суд. Конечно, он сказал мне это в других словах – слова у него были очень справедливые и правильные, но по смыслу мало отличались от мной написанных. С того дня, встречая дону Мануэля, я всегда кланялся и целовал ему руку, но, когда женился, жена мне сказала, что, проделывая такие шутки, я смахиваю на бабу, и, ясное дело, на том мои поклоны ему и кончились. После я узнал, что дон Мануэль про меня говорил, будто я все равно что роза на навозной куче, и – видит бог – в первую минуту меня охватило желание его задушить; потом оно стало пропадать – я от рождения вспыльчивый, но быстро отхожу – и в конце концов забылось, тем более что, хорошенько подумать, – я никогда не был уверен, верно ли его понял; может, дон Мануэль вообще ничего не говорил – нельзя верить всему, что болтают люди, а даже если и говорил – как знать, что он имел в виду! Может, вовсе не то, что я понял!

Если б Марио, покидая эту юдоль слез, обладал разумом, он наверняка ушел бы не очень-то ею довольный. Он жил среди нас мало – похоже, нюхом почуял, какое родство его ждет, и предпочел общество невинных младенцев в преддверии рая. Видит бог, он напал на верный путь – вместе с жизнью избавился от неисчислимых мук! Когда он покинул нас, ему не было и десяти лет – немного, если сравнить, сколько он выстрадал, но довольно, чтоб встать на ноги и заговорить, однако ни то, ни другое познать ему не довелось: бедняга от младенчества так и ползал по земле, точно уж, а горлом и носом издавал писк, точно крыса, и это все, что он постиг. С самого начала его жизни мы поняли, что горемыка родился дурачком и дурачком помрет. Первый зуб прорезался у него только в полтора года и вырос так криво, что сеньоре Энграссии (сколько раз она была нашим ангелом-хранителем!) пришлось вырвать его бечевкой, иначе он проткнул бы язык. В те же самые дни, может, потому что Марио из-за вырванного зуба наглотался крови, у него, извиняюсь, по заднице пошла сыпь вроде лишая, и после, оттого что в гной болячек попадала моча, все ягодицы облезли до живого мяса; когда его лечили, прикладывая к больному месту уксус и соль, младенец так надрывался плачем, что растрогал бы и самого жестокосердного человека. Потом на срок выдалось в его жизни затишье; несмышлениш играл с бутылками (бутылки особенно привлекали его внимание), полеживал в загоне или у входной двери на солнышке, куда его клали для здоровья, и так и жил себе помаленьку – порой лучше, порой хуже, но, во всяком случае, спокойней, чем поначалу, – до того самого дня, когда, в возрасте четырех лет от роду, судьба так против него повернула, что – хоть он того не искал, не желал, никому не мешал, бога не искушал – оба уха отъела ему, извиняюсь, свинья. Аптекарь дон Раймундо посыпал его желтеньким порошком – ксероформом, и такая злость брала глядеть на него, пожелтевшего и безухого, что по воскресеньям все соседки носили ему на утешение кто пе-еньице (большинство), кто миндаля, а кто оливок в масле или кусочек копченой сосиски... Бедный Марио, как благодарил он за гостинцы своими черными глазками! Если и прежде жилось ему несладко, то после, извиняюсь, свиньи пришлось еще горше; день и ночь лил он слезы и завывал, словно беспризорный, а так как у матери, имевшей мало терпения, иссякало оно в самое нужное время, то и валялся он на полу месяцами, ел что бросали и до того

зарос грязью, что даже я, хоть не часто мылся (зачем врать?), и то стал им брезгать. Когда на глаза ему попадалась, извиняюсь, свинья – а это у нас в провинции сплошь и рядом, – братишка впадал в неистовство и делался как сумасшедший – кричал еще громче обычного, рвался за что-нибудь спрятаться и выражал лицом и глазами такой страх, что остановил бы, думаю, и самого Сатану, подымись он на землю.

Помню, как-то в воскресенье в один из этих припадков его разобрали такой ужас и бешенство, что он, удирая, накинулся бог весть почему на бывшего у нас сеньора Рафаэля, который со смерти отца ходил по нашему дому, как по завоеванной территории; худшего не могло бедняжке втемяшиться, чем укусить старика за ногу, и лучше б он никогда этого не делал, потому что сеньор Рафаэль другой ногой вlepил ему такого пинка в то место, где остался рубец от уха, что Марио свалился без чувств, как мертвый, и из рубца потекла водичка, про которую я подумал, что она истощит ему кровь; старый хрыч: хохотал, будто совершил геройский подвиг, и с того дня я так его возненавидел, что, клянусь вечным блаженством, пришел бы при первом же удобном случае, не уберу его господь от моих рук подальше.

Малыш лежал пластом, а мать – уверяю вас, я тогда испугался, как увидел, до чего ж она подлая, – его не подбирала да еще смеялась, вторя сеньору Рафаэлю; у меня, видит бог, было желание его поднять, но я воздержался... А то, если б сеньор Рафаэль назвал меня нюней, я, как бог свят, забил бы его здесь же, при матери!

Я пошел в деревню развеяться и по дороге встретил сестру, жившую в ту пору с нами; рассказав ей, что произошло, я увидел в ее глазах такую ненависть, что невольно подумал – враг из нее выйдет опасный; почему-то мне вспомнился Щеголь, и я засмеялся про себя от мысли, что когда-нибудь сестра посмотрит на него таким взглядом.

Когда мы спустя два долгих часа после происшествия вернулись домой, сеньор Рафаэль прощался, а Марио, тоненько постанывая, все лежал лицом вниз на том же самом месте, и рубец у него был багровый и жальче комика в великий пост. Сестра (я думал – она тарарам устроит) подняла его с полу и положила в корыто. В тот день она показалась мне еще красивей, чем всегда,

– в платье небесно-голубого цвета, с повадкой матери, берегущей дитя, которого у нее не было и никогда не будет...

Когда сеньор Рафаэль наконец-то убрался, мать взяла Марио на руки и, баюкая на груди, весь вечер лизала ему рану, как сука лижет новорожденных щенят; малыш нежился и улыбался... Он так и заснул с улыбкой на губах. Точно вам говорю – это был единственный раз за всю жизнь, когда я видел, как он улыбается...

Потом прожил он некоторое время без новых злоключений – но судьба, она ведь если гонит кого, все равно не отстанет, хоть завались от нее камнями – и вот наступил день, когда он пропал с глаз долой и отыскался утопленником в кувшине с маслом. Его нашла сестра Росарио. Он торчал из кувшина, как сова-воровка, захваченная порывом ветра, – опрокинувшись через край и упершись носом в глиняное дно. Когда мы его подняли, изо рта у него, точно золотая нитка, потекла струйка масла, как будто в животе разматывался клубок; волосы, при жизни тусклые, как зола, блестели таким живым блеском, что невольно думалось – смерть его возродила. Вот все то необычное, что я помню о смерти Марио...

Мать моя и по сыне не плакала; у женщин с таким черствым сердцем, что она и слезинки не прольет над несчастным дитятей, нутро должно быть каменное! Про себя могу сказать, и не стыжусь этого, что я плакал, да, плакал вместе с сестрой Росарио, и такая ненависть к матери меня охватила и так быстро стала во мне разгораться, что я испугался самого себя. Женщина без слез – все равно что источник без воды, от которого нет проку, или птица небесная без песен – пожелай господь, у нее отпадут крылья, потому что зверью они ни к чему!

Я много раздумывал, много и не раз, а сказать правду – думаю и до сих пор, по какой причине я мать сперва уважать перестал, а с годами и любить, и относиться к ней как положено; раздумывал потому, что хотелось расчистить в памяти такую прогалину, откуда видней, до какой поры она была в моем сердце матерью, а с какой – превратилась во врага. В лютого врага – ведь нет злее ненависти, чем к собственной крови, – в такого врага, на которого я извел всю желчь, потому что острее всего ненавидишь то, на что похож сам, и сходство встает тебе поперек горла. Много передумав, но так до конца ничего и не прояснив, определенно могу лишь сказать, что уважать ее перестал я давно, когда разобрался, что нету у нее ни хороших качеств, которым стоит подражать, ни склонностей, которые стоит перенимать, а из сердца моего ушла она тогда, когда я разглядел в ней столько зла, что в мою грудь оно просто не уместилось. Но стал я ненавидеть ее, возненавидел, что называется, гораздо позднее – ненависть, как и любовь, не одного дня дело, – и, может, не очень ошибусь в датах, если скажу, что она во мне проявилась в те дни, когда умер Марио.

Мы обтерли малыша ветошью, чтоб в судный день восстал он не очень замасленный, и красиво обрядили в саван из кусков миткаля, что нашлись в доме, альпаргаты[2], за которыми сходил я в деревню, и розовый шейный платочек, повязав его на горле бантом, похожим на бабочку, по неразумию севшую на мертвеца. Сеньор Рафаэль, раздобрившись к покойнику, с которым при жизни обходился так безжалостно, взялся помочь нам сколотить гроб; он сновал взад-вперед усердно и важно, как молодая после свадьбы, – то с гвоздями, то с доской или жестянкой белил, а я ни о чем другом думать не мог, кроме его усердия и важности, потому что – не знал и теперь не знаю, отчего и по какой причине, – сердце мне говорило, что на самом деле он утопает в блаженстве. Когда бормотал он с каким-то рассеянным видом: «Он богу угоден! Ангелочков – на небо!», на меня как столбняк находил, и восстановить теперь, что со мной

делалось, стоит мне невероятного труда. Сколачивая доски или гроб крася, он эти слова: «Ангелочков – на небо! Ангелочков – на небо!» повторял точно припев, и они стучали у меня в сердце, как будто там были часы... Часы, от стука которых грудь разорвется... Часы, послушные его речи, цедящейся неспешно, как бы бережно, и его глазкам, влажным и голубым, как у гадюки, глядящим на меня с прилежным сочувствием, когда в крови моей бурлит к нему одна только ярая ненависть... «Ангелочков – на небо! Ангелочков – на небо!» Про тот день мне вспоминать неприятно. Сукин сын, ну и хитрил же он, эта лиса! Лучше поговорим о другом.

Я, по правде, никогда толком не знал, каковы с виду ангелы, потому что никогда не задумывался над этим всерьез; одно время я воображал их белокуроыми и в длинных голубых или в розовых юбках; другое время считал, что они цветом, как облака, и собой еще тоньше пшеничного стебля. Но так или иначе могу утверждать, что никогда не представлял их себе схожими с братом Марио, и, наверно, по этой самой причине мне чуялось в словах сеньора Рафаэля неладное, какой-то злобный умысел и подвох – чего ж другого и ждать при его великой подлости. Похороны Марио, как и похороны отца несколько лет тому назад, были бедные и скучные; за гробом, без преувеличения, собралось человек пять-шесть, не больше: дон Мануэль, служка Сантьяго, Лола, три-четыре старухи да я. Впереди шел Сантьяго с крестом, присвистывая и поддавая ногами камни, за ним гроб, за гробом дон Мануэль, натянувший поверх сутаны белую ризу, похожую на салфетку, которой в парикмахерской обвязывают клиентов, а за ним старухи с плачем и стенаниями – как будто они вместе и породили то, что предается ныне земле.

Лола в ту пору была мне почти невеста – говорю почти, на не больше потому, что переглядывались мы с охотой, а сказать о любви я, по правде, не посмел ей еще ни слова – отчего-то было мне боязно, что насмеется, и хоть по большей части она сама за мной бегала, чтоб я решился, робость во мне всякий раз пересиливала, и я снова и снова откладывал дело, которое затянулось уже до невозможности. Мне было лет двадцать восемь или тридцать, а ей – она была помоложе сестры Росарио – двадцать один – двадцать два; была она рослая, кожей смуглая, черноволосая и с такими глубокими черными глазами, что так и пронзала взглядом; тело у нее было плотно сбитое и от здоровья – как железное, а по развитию кто ни посмотри сказал бы, что она рожала. Однако, чтоб ни в чем не отступить от истины и прежде чем перейти к дальнейшему, хочу, пока не позабыл, сказать вам, что была она тогда нетронута, как новорожденная, и не знала мужчин, как послушница, – на этом хочу сделать особый упор, чтоб о ней не сложилось превратного мнения. Что она вытворяла после – до конца одному богу известно и на ее совести, а в ту пору она понятия не имела о похоти, и я настолько в этом уверен, что готов хоть сейчас заложить душу черту – пусть, он мне докажет обратное. Ступала она очень сильно и уверенно, держалась бойко и горделиво – и не подумаешь, что простая крестьянка, а ее волосы, забранные на затылке в толстую косу, прямо дивили своей мощью, и спустя месяцы, уже повелевая ею как муж, я полюбил хлестать себя косою по щекам, до того она была

шелковистая и пахучая – пахла солнцем, чебрецом и холодной испариной, выступавшей у Лолы над гу-бой, когда ей бывало жарко...

Похороны – возвращаясь к рассказу – прошли без задержки: могилу вырыли заранее, оставалось спустить в нее брата и засыпать землей. Дон Мануэль стал читать латинские молитвы, женщины встали на колени. У вставшей на колени Лолы над черными чулками видны были ноги – белые и тугие, как сардельки... Стыдно сказать, но пусть бог зачтет это признание во спасение моей души, потому как сделать его стоит мне большого труда: тут я обрадовался смерти брата... Ноги Лолы сверкали, как серебро, и кровь стучала у меня во лбу, и сердце рвалось выскочить из груди.

Я не видал, как ушли дон Мануэль и женщины. Начав снова различать окружающее, я почувствовал, что сижу, как будто в дурмане, на свежевскопанной земле, засыпавшей труп Марио; как я очутился на могиле и сколько протекло времени, навсегда осталось для меня тайной. Помню, что кровь по-прежнему стучала у меня в висках и сердце по-прежнему рвалось вылететь из груди. Солнце садилось, его последние лучи подбирались к унылому кипарису, разделявшему мое одиночество. Было жарко, но по телу моему пробегала дрожь, и я не мог двинуться, как будто пригвожденный к месту волчьим взглядом.

Рядом стояла Лола, ее груди подымались и опускались от дыхания.

– Это ты?

– Как видишь.

– Что ты тут делаешь?

– Ничего, просто так...

Я вскочил и схватил ее за руку.

– Что ты тут делаешь?

– Да ничего! Не видишь? Ничего!

Лола глядела на меня так, что было страшно. Голос у нее был какой-то потусторонний – глухой и замогильный, как у привидения.

– Ты такой же, как твой брат!

– Я?

– Да, ты!

Боролись мы яростно. Поваленная и прижатая к земле, Лола была еще красивее... Ее груди от дыхания подымались и опускались все чаще и чаще. Я притянул ее к земле за волосы и не выпускал. Она напрягалась, вывертывалась...

Когда я укусил ее до крови, она покорилась и присмирела, как молодая кобыла...

– Вот этого ты хочешь?

– Да!

Лола улыбалась мне ровными, один к одному, зубами... Потом стала гладить мои волосы.

– Ты не такой, как твой брат!.. Ты мужчина!.. Слова у нее в губах немного гудели.

– Ты мужчина!.. Ты мужчина!..

Земля была мягкая, я хорошо помню. И на земле полдюжины маков для мертвого братика – шесть капель крови...

– Ты не такой, как твой брат!.. Ты мужчина!..

– Любишь меня?

– Да!

(6)

Две недели, по воле провидения, прошли с тех пор, как я написал предыдущее, и за все это время, что ни день отвлекаясь то допросами и свиданиями с адвокатом, то переводом на новое место, я не имел свободной минуты взяться за перо.

Сейчас перечитал эту не толстую еще пачку листков, и в голове у меня такой сумбур и коловращение самых разных мыслей, что, сколько ни думаю, не знаю, на что и решиться. Много плохого, как вы сами видели, тут уже рассказано, и боюсь, мне не хватит сил приступить к остальному – оно куда хуже; мне страшно подумать, какая у меня дотошная память – все факты моей жизни, которую, увы, нет никакой возможности повернуть вспять, видны с бумаги отчетливо, как со школьной доски; и занятно – но, видит бог, и грустно! – сознавать: а ведь напряги я так свою память годы назад, не сидел бы я теперь в одиночке, чиркая пером, а грелся на солнышке у себя в загоне, ловил в пруду угрей или гонялся па косогорах за кроликами. А то делал бы еще что-нибудь такое, что делает, о том не задумываясь, большинство людей; ходил бы себе на воле, как ходит, опять– таки о том не задумываясь, большинство людей; было б у меня впереди еще бог знает сколько лет жизни, как у большинства людей, которым и невдомек, что могут прожить их без спешки...

Место, куда меня перевели, лучше прежнего; в окошко виден садик, ухоженный и вылизанный, как комнатка, а за садиком до самых гор тянется открытая равнина, бурая, как человечья кожа, и по ней порой движутся в Португалию вереницы мулов, семят к домишкам ослики и ходят к колодцу и обратно женщины и дети.

Я дышу воздухом, что входит и выходит из камеры – ведь это ничего не меняет, – тем самым воздухом, которым, может, завтра, а то еще когда будет дышать проезжий погонщик... Я вижу разноцветную бабочку, что бестолково порхает над подсолнухами, влетает в камеру, делает по ней два круга и вылетает – ведь это ничего не меняет – и небось еще сядет на подушку к начальнику тюрьмы... Я ловлю шапкой мышь, что подбирала мои объедки, гляжу на нее, выпускаю – ведь это ничего не меняет – и вижу, как она мягко шмыгает в норку, – норку, откуда

вылезает отведать пайка чужого человека, который живет в камере недолго и совсем одиноко и по большей части уходит из нее напрямиком в преисподнюю.

Вы, наверно, мне не поверите, если скажу вам, но в эти дни такая скорбь у меня в душе и такое сокрушение, что готов поручиться – мое раскаяние впору и святому; но вы, наверно, мне не поверите, потому что слишком плохи отзывы, вам обо мне известные, и мнение, у вас обо мне сложившееся... И все-таки я вам это пишу – может, ради самих этих слов, может, потому, что меня не покидает мысль: вы сумеете меня понять и поверите тому, в чем не клянусь вам моим вечным спасением, поскольку невелика была бы цена этой клятве... Горечь подступает у меня к горлу такая, будто мое сердце не кровь гонит, а сок алоэ; подступая и отливая, она оставляет на небе кислый привкус, обдает язык своим испарением и сушит мне нутро своим духом, тяжким и вредным, как воздух в склепе.

На время я оторвался от писания – то ли двадцать минут пролетело, то ли час, то ли два... По тропинке – как хорошо было их видно из моего окошка! – проходили люди. Они, верно, не подозревали, что я за ними подглядываю, – так свободно держались. Это были двое мужчин, женщина и ребенок, шли они по тропинке с виду веселые. Мужчинам было лет по тридцати, женщине чуть меньше, а мальчугану не больше шести. Босиком, в рубашонке выше пупа, он обскакивал кусты, как козлик. Забежав вперед, останавливался, швыряя камешком и птицу... Сходства никакого, и, однако, до чего ж он напомнил мне братика Марио!

Женщина, видно, доводилась ему матерью; кожа была у нее, как у всех здешних женщин, смуглая, и во всем теле разлита такая радость – глядеть на нее и то счастье. Она сильно отличалась от моей матери, но почему же она так мне ее напомнила?

Вы простите меня, но продолжать я не в силах. Еще немного и заплачу... А вы не хуже моего знаете, что уважающим себя мужчина не должен поддаваться слезам, как баба.

Поведу мой рассказ дальше; знаю, он печален, но еще печальней, по мне, такие рассуждения – не выдерживает их мое сердце, эта машина, что гонит кровь, которую проливают ударом кинжала.

(7)

Вы, конечно, догадываетесь, по какой торной дорожке пошли мои отношения с Лолой, и спустя время – с похорон покойного братика не миновало еще пяти месяцев – меня удивила новость (видите, как оно бывает), которой мне меньше всего следовало бы удивляться.

Случилось это в день святого Карла, в ноябре. Я пришел к Лоле домой, как ходил каждый день последние месяцы; мать ее, как всегда, сразу поднялась и вышла. Лолу застал я бледной и какой-то странной, я это потом уже сообразил; похоже, перед тем она плакала и как будто терзалась глубокой тревогой. Разговор, который никогда не был промеж нас особенно бойкий, в тот день пугался самого

звука наших голосов, как сверчки шагов или куропатки, – пения путника; при каждой попытке заговорить слова застревали у меня в глотке, сухой, как стенка.

– Ну, не хочешь, так не говори.

– Вот, хочу!

– Ну, так говори. Мешаю тебе, что ли?

– Паскуаль!

– Ну.

– Знаешь что?

– Что?

– Ты не догадываешься? – Нет.

Теперь меня смех берет, как долго не мог я уразуметь.

– Паскуаль!

– Ну!

– Я беременная!

Сперва я не понял. Меня как пришибло, до того я не ожидал этой новости; я в мыслях никогда не держал, что то, про что мне говорят, что так естественно, и впрямь могло случиться. Не знаю, о чем я тогда думал.

Кровь жаром обдала мне уши, они покраснели, как угли; глаза щипало, как от мыла...

Минут десять по крайней мере прошло в мертвом молчании. Сердце отрывисто, как часы, билось у меня в висках, но я несразу это заметил, Лола дышала, как во флейту дула.

– Ты беременная?

– Да.

Она заплакала. Мне в голову не приходило, чем бы ее утешить.

– Не глупи. Одни умирают, другие рождаются...

Может, бог избавит меня от какой кары в аду за умиление, которое я чувствовал в тот вечер.

– Ну что тут особенного? Твоя мать, до того как тебя родила, тоже ходила беременная... и моя тоже...

Я из кожи лез вон, чтобы что-нибудь сказать. Уже раньше я уловил в Лоле перемену – ее как наизнанку кто вывернул.

– Всегда так бывает, дело известное. Нечего расстраиваться.

Я глядел на Лолин живот, но ничего не замечал. Без румянца в лице, с растрепанными волосами она была на редкость красивая.

Я придвинулся к ней и поцеловал в щеку. Она была холодная, как покойница, целовать себя позволяла с улыбкой, в точности похожей на улыбку мучениц стародавних времен.

– Ты рада?

– Да! Очень рада! Говорила она без улыбки.

– Ты так меня любишь?

– Да, Лола, так...

Это была правда, тогда я и впрямь так любил ее – молодую, с ребенком в утробе – моим сыном, которому я мечтал в ту пору дать образование и вывести в люди.

– Лола, мы поженимся, надо выправить бумаги. Оставлять так нельзя...

– Да.

Лолин голос походил на вздох.

– Я докажу твоей матери, что знаю, как должен поступать мужчина.

– Да она знает...

– Нет, не знает!

Когда я собрался уходить, было уже темно.

– Позови мать.

– Мать?

– Да.

– Зачем?

– Я скажу ей.

– Она знает.

– Пусть знает... Я сам хочу ей сказать!

Лола встала – какая она была рослая! – и вышла. Глядя, как она переступает кухонный порог, я любовался ею, как никогда.

Немного погодя вошла мать.

– Чего тебе?

– Вы знаете.

– Видал, что ты сделал с ней? – Хорошо сделал.

– Хорошо?

– Да, хорошо! Разве она несовершеннолетняя?

Мать молчала; я не думал, что она будет такая покладистая.

– Я хотел поговорить с вами.

– О чем?

– О вашей дочке. Я хочу жениться на ней.

– Хотеть мало. Ты решил окончательно? – Да, окончательно.

– А обдумал хорошо?

– Очень хорошо.

– За такое малое время?

– Времени было достаточно.

– Ну погоди, я позову ее.

Старуха вышла и долго не возвращалась; видно, они спорили. Вернувшись, она привела Лолу за руку.

– Вот гляди, он хочет на тебе жениться. Пойдешь за него замуж?

– Пойду.

– Славно, славно... Паскуаль – славный парень, я наперед знала, как он поступит.. Ну, целуйтесь!

– Мы уже целовались.

– Целуйтесь опять, чтоб я видела.

Я подошел к девушке и поцеловал ее, поцеловал с напряжением всех сил, крепко прижав к груди, не обращая внимания на присутствие матери. Однако этот первый дозволенный поцелуй мне на вкус не понравился, те, первые, на кладбище, что казались уже такими далекими, были куда слаще.

– Можно я останусь?

– Оставайся.

– Нет, Паскуаль, нельзя, пока нельзя еще.

– Можно, дочка, можно. Он ведь будет твой муж, разве нет?

Я остался и провел с ней ночь.

На другой день с самого утра я отправился в церковь и вошел в ризницу, где дон Мануэль облачался к ранней обедне, которую он служил для дона Хесуса, его домоправительницы и еще двух-трех старух. Увидав меня, он удивился.

– Ты каким образом здесь?

– Да вот, дон Мануэль, разговор у меня к вам.

– Долгий?

– Да, сеньор.

– Можешь подождать, пока я отслужу обедню?

– Да, сеньор, мне не к спеху.

– Ну, тогда подожди.

Дон Мануэль отворил дверь ризницы и указал мне скамью, обыкновенную скамью, как во всех церквах, деревянную и некрашеную, жесткую и холодную, как камень, на которых, однако, случается переживать прекрасные минуты.

– Сядешь там. Увидишь, что дон Хесус опускается на колени, опускайся и ты; увидишь, что дон Хесус подымается, и ты подымайся; увидишь, что дон Хесус садится, и ты садись.

– Ладно, сеньор.

Обедня, как все обедни, продолжалась чуть больше получаса, но эти полчаса пролетели для меня незаметно.

Когда она кончилась, я вернулся в ризницу. Дон Мануэль разоблачался.

– Ну, говори.

– Видите, я жениться хочу.

– Одобряю, сын мой, одобряю. Для того господь и создал мужчин и женщин – для продолжения рода человеческого.

– Да, сеньор.

– Очень хорошо. А на ком? На Лоле?

– Да, сеньор.

– Давно надумал?

– Нет, сеньор, вчера...

– Как, только вчера?

– Только вчера. Вчера она сказала мне про свое дело.

– Стряслось что-нибудь?

– Да.

– В положении, что ли?

– Да, сеньор, в положении.

– Ну, что ж, сын мой, самое лучшее вам пожениться. Бог вам все простит, а во мнении людей вы еще и подниметесь. Ребенок, рожденный вне брака, – грех и поношение, а для родителей, женатых по христианскому обычаю, – благословение господне. Бумаги я тебе выправлю. Вы не двоюродные?

– Нет, сеньор.

- Тем лучше. Приходи через две недели, все будет готово.
- Хорошо, сеньор.
- А теперь ты куда?
- Работать, куда ж еще.
- Может, перед тем исповедаешься?
- Ну, ладно...

Я исповедался и почувствовал себя умягченным и разглаженным, как будто меня выкупали в горячей воде.

(8)

Спустя чуть больше месяца, 12 декабря, в день богоматери Гуадалупской, который в том году пришелся на среду, и выполнив предварительно все, что положено по закону церкви, мы с Лолой поженились.

Меня томило беспокойство и как бы раздумье, как бы страх перед шагом, который я собирался совершить, – черт возьми, женитьба дело нешуточное! – и порой на меня нападала такая оторопь и слабость, что, поверьте, я готов был все кинуть и идти на попятный, и так бы и сделал, если б не мысль, что поскольку трезвон подымется до небес, а я, если разобраться, боюсь его не меньше, то лучше уж вести себя смирно и будь что будет. Наверно, бараны, которых гонят на бойню, рассуждают так же, а о себе могу сказать: был момент, когда мне казалось, что сойду с ума от того, что на меня надвигается. Не знаю, нюхом ли я чуял, что меня ждет беда. Хуже всего, что этот самый нюх не ручался мне, что я буду счастливей, если останусь холост.

Поскольку я по пожалел па свадьбу всех сбережений, какие у меня были, – женился против воли – одно, а поддерживать свое положение в обществе – другое, она вышла у нас если не пышная, то, во всяком случае, не хуже, чем у людей. В церкви я велел поставить маки и цветущий розмарин, в ней стало приятно и гостеприимно, и потому, может, не так чувствовался холод сосновых скамеек и каменного пола. Невеста в черном – в облегающем платье из полотна высшего качества, на голове кружевная фата, подаренная крестной, в руке букет апельсиновых цветов – выступала такая статная и уверенная в себе, что глядела прямо королевой; на мне был нарядный голубой костюм в красную полоску, купленный в Бадахосе, черный атласный козырек, который я в тот день обновил, на шее шелковый платок, на животе цепочка. Мы были красивая пара, уверяю вас, – молодые, хорошо одетые! Ах, как далеко ушло то время, когда минутами еще мерещилось, что счастье возможно!

Посажеными у нас были сеньорито Себастьян, аптека-рев – дона Раймундо – сын, и сеньора Аурора, сестра священника. Дон Мануэль благословил нас и под конец закатил проповедь втрое длиннее самого венчания, которую, видит бог, я вытерпел только по обязанности — такую она навела на меня скуку; он сказал

нам сызнава о продолжении рода человеческого, а также про папу Льва XIII и что-то про апостола Павла и рабов... Видно, готовил речь на совесть!

Когда церковный обряд закончился, чего я уж не чаял дожидаться, все мы скопом пошли ко мне в дом, где без особых удобств, зато от чистого сердца было выставлено вдоволь еды и питья, чтоб накормить-напоить до отвала всех, кто пожаловал, и еще вдвое больше народу. Для женщин был шоколад с хворостом, миндальными тортами, коврижками, смоковными хлебцами, а для мужчин – мансанилья и на закуску ломтики копченых сосисок и кровяной колбасы, маслины, сардины из банок. Знаю, были в деревне люди, которые осуждали меня за то, что я не устроил обеда, – ну их! Могу вас уверить, что ублагоотворить их мне дороже не обошлось бы, а если я предпочел уклониться, так потому что был по рукам связан желанием поскорей уехать вместе с женой. Совесть моя чиста – положенное я исполнил, и не хуже других, и этого с меня довольно, а что до пересудов – не к чему их слушать!

Почтив гостей, я, как только улучил момент, вывел жену, посадил ее на круп кобылы, украшенной по такому случаю нарядной сбруей, которую мне одолжил сеньор Висенте, и шажкам, с опаской, как бы жена не свалилась выехал на большак и направил путь к Мериде, где мы провели три дня – пожалуй, три самых счастливых дня в моей жизни. По дороге мы останавливались передохнуть раз, наверное, шесть; теперь я дивлюсь и сам себе не верю, вспоминая, с каким упоением мы вместе рвали ромашки и втыкали их друг другу в волосы. Похоже, что к новобрачным вдруг неожиданно возвращается все простодушие детского возраста.

Когда мы ровной, мерной рысью въезжали в город по римскому мосту, нам не повезло – кобыла испугалась, может, реки, кто ее знает, и так брыкнула прохожую старуху, что бедняга полетела кувыркком и чуть не свалилась вверх тормашками в Гуадиану. Я быстро спешил ей на помощь: благородному человеку удирать не пристало, однако старуха, по моему впечатлению, отделалась одной досадой; я дал ей реал, чтоб никому не жаловалась, похлопал по спине и пошел обратно к Лоле. Лола смеялась, и меня ее смех, поверьте, сильно огорчил; не знаю, было ли то предчувствие, как бы подсказка сердца, что с ней стряется позже. Негоже смеяться над несчастьем ближнего – это говорит вам человек, который сам всю свою жизнь был очень несчастен; господь побивает без палки и без камня, и ведомо – кто меч подымет... Но с другой стороны, даже и без того, человеколюбие – оно никогда не мешает.

Мы поселились на заезжем дворе Мирло, в большой комнате справа от входа, и первые два дня все миловались и не казали на улицу носа. В комнате было хорошо, просторно; потолок высокий, державшийся на крепких каштановых балках; плитяной пол чистый, много удобной мебели, пользоваться которой одно удовольствие. Память об этой спальне всю жизнь меня не покидала, как верный друг; кровать была самая величественная из всех, какие довелось мне видеть, с изголовьем резного ореха, с четырьмя тьюфьями, набитыми мытой шерстью... До чего сладко на ней спалось, в пору королю! Был там еще комод, высокий и

пузатый, как бабища, с четырьмя глубокими ящичками с золочеными ручками и шкаф, доходивший до потолка, с широким зеркалом высшего качества и двумя стройными подсвечниками того же дерева – по одному с каждой стороны для лучшего освещения фигуры. Даже рукомойник – они обычно хуже всего – был в этой комнате нарядный: легкие гнутые ножки из бамбука и белый фаянсовый таз, расписанный по краю птичками, красили его и делали привлекательным. На стенах висели – над кроватью большая литография в четыре цвета, изображавшая страсти Христовы; затем бубен с красными и желтыми лентами и кистями и нарисованной на нем разноцветной севильской колокольней; две пары кастаньет по бокам, а также живописная картина «Римский цирк», которую я всегда считал прозведением большой ценности. Были там еще часы на комод, с маленьким циферблатом в виде земного шара, лежавшего на плечах у голого мужчины, и две талаверские вазы голубой росписи, немного уже поблекшие, но сохранившие этот свой блеск, который придает им такую приятность. Стулья, числом всего шесть, из них два с подлокотниками, были с высокими спинками и прочными ножками, под зад, извиняюсь, подложен алый бархат, и такие удобные, что я, вернувшись домой, страшно о них жалел, – а уж как жалею теперь, сидя здесь, не стоит и говорить. До сих пор о них вспоминаю, несмотря на прошедшие годы!

Мы с женой проводили часы, наслаждаясь предоставленными нам удобствами, и, как я уже сказал вначале, даже не выходили на улицу. Что нам до нее за дело, если у нас тут есть то, чего нам не дадут нигде в городе?

Но поверьте мне, плохо быть невезучим: счастье этих двух дней начало удивлять меня – слишком уж оно казалось полным.

На третий день, в субботу, само собой по наущению родственников сбитой старухи, к нам нагрянула полиция. Услышав, что тут полицейский, в дверях собралась орава ребят и устроила нам кошачий концерт, так что месяц потом в ушах звенело. Запах арестанта будит в детях какую-то злую жестокость: они смотрят на нас как на редкую тварь, горящими глазами, с порочной улыбкой на губах, как смотрят на овцу, которую режут на бойне, – в ее горячей крови они альпаргаты мочат, – или на пса, раздавленного телегой, – они его палкой тычут, чтоб узнать, жив еще или нет, – или на котят новорожденных, тонущих в водопойной колоде, котят, в которых они камнями швыряют, а то нет-нет да и вытащат поиграть, продлить им жизнь – до того они к ним безжалостны! – и растянуть их мучения. Поначалу приход полиции меня расстроил, и, хоть я изо всех сил старался казаться спокойным, боюсь, что от волнения мне это не удалось. С полицейским заявился парень лет двадцати пяти, внук старухи, долговязый и тщеславный, что свойственно этому возрасту, и это меня выручило – ведь на людей, как вам известно, лучше всего действуют лестное слово и звонкий кошелек, и едва я назвал его молодцом и сунул в руку шесть песет, как он пулей выскочил из комнаты, не чуя под собой ног от радости и моля бога – в том я уверен, – чтобы бабка почаще попадала под копыта. Полицейский, пригладив усы и прокашлявшись, сделал мне внушение насчет ухарской езды, но

главное – не знаю уж, оттого ли, что пострадавшая сторона так быстро образумилась, – ушел, не чиня мне больше никаких неприятностей.

Лола, завидев гостей, так и обмерла, но как женщина не из трусливых, хоть и пугливая, скоро оправилась от первого страха – на щеках снова разыграл румянец, глаза заблестели, губы заулыбались, и тут же к ней вернулась ее пригожесть и самоуверенность. Хорошо помню, что именно тогда я впервые заметил у нее живот; сердце у меня от этого вида заныло жалостью, а жалость в тот же самый миг успокоила мою совесть, тревожившую меня тем, что я все еще не испытывал никакого трепета при мысли о первом сыне. Заметно было еще очень мало, и если б я ничего не знал, возможно, и не обратил бы внимания. В Мериде мы купили кое-какие мелочи для дома, но так как денег с собой взяли немного, да их и поубавилось на шесть песет, отданных мной внуку сбитой старухи, то я решил вернуться в деревню, считая, что осмотрительному человеку не подобает издерживаться до гроша. Я снова оседлал кобылу, надел на нее праздничную сбрую сеньора Висенте, скатал попону на седельной луке и так же, как и уехал, с женой за седлом возвратился в Торремехию. Дом мой, как знаете, стоял на альмендралехской дороге, мы же ехали из Мериды, и, чтоб нам до него добраться, надо было проехать вдоль всего порядка домов, а так как уже спускался вечер, все односельчане видели наше парадное возвращение и, выражая свою к нам любовь, которая в ту пору еще не иссякла, устроили мне и Лоле радушный прием. Уступая просьбам друзей по своей холостой жизни и работе, я, чтоб не задеть Лолу ногой, перепрыгнул через голову лошади – и они чуть не на руках потащили меня в кабачок Петуха Мартинете; когда мы с пением туда ввалились, хозяин прижал меня к брюху и я чуть не сомлел от силы, с которой он меня сдавил, и запаха белого вина, которым от него разило. Лолу я поцеловал в щеку и отослал домой встречать подруг и ждать меня, и она уехала, верхом на статной кобыле, стройная и горделивая, как принцесса, зная не зная и ведать не ведая – так уж оно водится, – что тварь эта причинит нам первую неприятность.

В кабачке разгулялись мы на славу – гитара была, вина хоть залейся, настроение подходящее – и, забыв обо всем на свете, кроме самих себя, за песнями и питьем не замечали, как летит время. Сакариас, сын сеньора Хулиана, пел сегидильи. Приятно было слушать его голос, нежный, как у щегла! Если он запевал в угомон, мы слушали молча, как замороженные, а если расходились от вина и разговора, подхватывали по кругу, и хоть голоса у нас были не очень-то ладные, за потешные слова оно прощалось.

Жаль, что люди никогда не знают, куда заведет их веселье, потому что, если б мы знали, уж от некоторых неприятностей мы, без сомнения, могли б уберечься! Я это к тому веду, что ночная пирушка у Петуха рассыпалась, как четки, и только из-за того, что никто из нас не умел вовремя остановиться. Дело вышло проще простого – ведь все, что осложняет нам жизнь, на поверку всегда просто.

Говорят, рыба за пасть помирает, и еще говорят, что язык до добра не доводит и что в закрытый рот муха не залетает, и ей-богу, во всем этом, как я считаю, есть доля правды, потому что, если б Сакариас помалкивал себе, как господь велит, и

не совался не в свое дело, он уберется б тогда от маленькой неприятности и ныне не предвещал бы соседям дождь по трем своим зарубкам. Вино – оно плохой советчик.

Сакариас зубоскальства ради рассказал нам по пьянке – не знаю уж, случай ли, небылицу ли, – про какого-то голубя, сманивавшего чужих голубок в свою голубятню, и в ту минуту я поклялся б (да и сейчас готов), что он подразумевал меня; и никогда не страдал мелочной обидчивостью, но бывают прямые выпады – или вы считаете их такими, – когда нет никакой возможности сделать вид, что к тебе это не относится, и удержаться в руках и не взорваться.

Я обратился к нему;

– По правде, не понимаю, что тут забавного.

– Все поняли, Паскуаль.

– Пусть так, не отрицаю, но хочу сказать, что в приличном обществе, мне кажется, не дело так шутить, что всем смешно, а кому-то нет.

– Не входи в раж, Паскуаль; ты же знаешь – кто входит в раж...

– И еще мне кажется, что не дело мужчине от шуток переходить к оскорблениям.

– Это ты про меня?

– Нет, про губернатора.

– А мне так кажется, что ты храбрее на словах, чем на деле.

– У меня слова с делом не расходятся.

– Не расходятся?

– Нет!

Я встал на ноги.

– Хочешь, выйдем на улицу?

– Не обязательно!

– Очень уж ты удал!

Друзья отошли в сторону – мужчинам не пристало мешать ко им обменяться ударами.

Я тщательно раскрыл нож: в такие минуты всякая поспешность, любая промашка может иметь для нас самые пагубные последствия. Тишина стояла такая, что слышно было, как промчит муха.

Я кинулся на Сакариаса и, не успев встать в позицию, три раза ударил его ножом, от чего он так и задрожал. Когда его уносили в аптеку донна Раймундо, кровь хлестала из него ручьем.

(9)

Домой я подался в компании трех-четырех самых близких друзей, немного удрученный тем, что случилось.

– Опять мне не повезло... На третий день после свадьбы! Мы шли молча, понурые, как на похоронах.

– Он сам напросился, совесть у меня спокойна. Нечего было болтать!

– Брось переживать, Паскуаль.

– Как это брось! Я ведь жалею, пойми! Задним числом...

Наступало утро, и певчие петухи оглашали воздух своими криками. Степь пахла каменным розаном и чебрецом.

– Куда ты ему угодил?

– В плечо.

– Сколько раз?

– Три.

– Обойдется?

– Да, конечно! Надеюсь, что обойдется!

– Хорошо бы.

Никогда дорога домой не казалась мне такой длинной, как в ту ночь.

– Похолодало...

– Не знаю, не чувствую.

– Может, меня знобит!

– Наверно...

Мы шли мимо кладбища.

– Тяжело, должно быть, лежать под землей!

– Парень! Зачем так говоришь? Чудные мысли лезут тебе в голову!

– Да, верно...

Кипарис стоял высокий и тощий, как призрак, как часовой при мертвецах.

– Уродливый кипарис...

– Уродливый.

На кипарисе сова, зловещая птица, таинственно шипела.

– Противная птица.

– Противная...

– Каждую ночь она здесь.

– Каждую...

– Как будто ей нравится быть с мертвецами.

– Как будто...

– Что с тобой?

– Ничего! Со мной ничего! Мерещится тебе...

Я поглядел на Доминго; он был бледен, как умирающий.

– Ты заболел?

– Нет...

– Боишься?

– Боюсь? Я? Кого мне бояться?

– Никого, брат, никого! Я это просто так сказал. Сеньорито Себастьян вмешался:

– Ладно, замолчите-ка! Не хватает еще, чтоб теперь сцепились и вы.

– Да нет...

– Далеко еще, Паскуаль?

– Недалеко, а что?

– Так.

Казалось, будто чья-то таинственная рука отодвигает мой дом все дальше и дальше.

– Мимо не пройдем?

– Что ты! Наверно, уже засветили лампу.

Мы снова замолчали. Было уже совсем недалеко.

– Вон тот, что ли?

– Да.

– Что ж ты не сказал?

– Зачем? Разве ты не знал?

Меня удивила тишина в доме. Женщины еще должны, по обыкновению, быть там, а вы знаете, как они пронзительно стрекочут.

– Спят как будто.

– Не может быть! У них горит свет!

Мы подошли к дому: действительно, горел свет. На пороге сидела сеньора Энграсия; она шепелявила, как сова на кипарисе, да и лицом, пожалуй, была ей сродни.

– Что вы здесь делаете?

– Тебя ждала, сынок.

– Меня?

– Да.

Загадочные слова сеньоры Энграсии пришлись мне не по душе.

– Ну-ка, пустите меня!

– Не ходи!

– Почему?

– Потому что не ходи!

– Это мой дом!

– Знаю, сынок, и много лет... Да только входить тебе не надо.

– Почему не надо?

– Потому что нельзя, сынок. Твоей жене плохо!

– Плохо?

– Да.

– Что с ней?

– Ничего. Она выкинула.

– Выкинула?

– Да. Ее сбросила кобыла...

От охватившего меня бешенства я плохо видел; я был в таком ослеплении, что не разобрал, что мне говорят.

– Где кобыла?

– В конюшне.

Дверь конюшни, выходящей в загон, была с низкой притолокой. Входя, я нагнулся. Ничего не было видно.

– Ну, кобыла!

Кобыла жалась к яслям. Я осторожно раскрыл нож: в такие минуты один неверный шаг может иметь для нас самые пагубные последствия.

– Ну, кобыла!

Снова пропел рассветный петух.

– Ну, кобыла!

Кобыла пятилась в угол. Я заходил на нее, приблизился так, что мог похлопать по заду. Тварь держалась настороженно, беспокоилась.

– Ну, кобыла!

Все совершилось в одну минуту. Я набросился на нее и стал колотить ножом; я ударил ее не меньше двадцати раз...

Кожа у нее была толстая, куда толще, чем у Сакариа-са... Когда я вышел из конюшни, руку у меня ломило, кровь покрывала ее до локтя. Животина не пикнула, только дышала еще глубже и чаще, чем когда к ней подпускали жеребца.

(10)

Точно вам говорю, хотя после, поостыв, я думал иначе, но в тот момент меня сверлила одна мысль – а ведь Лола могла бы выкинуть до того, как я на ней женился! От какой горечи, от какого жгучего разочарования я бы уберегся!

Это злосчастное происшествие подкосило меня и погрузило в самые черные думы; я бродил по деревне как в воду опущенный, и ушло целых двенадцать долгих месяцев, пока я опамятовался. Когда через год или чуть меньше после постигшей нас неудачи Лола опять забеременела, я с радостью почувствовал, что меня сдает то же нетерпение и беспокойство, что и в первый раз: время ползло, а не летело, как мне хотелось, и куда бы я ни шел, ярость не отпускала меня, как тень.

Я сделался замкнутый и нелюдимый, угрюмый и подозрительный, а так как и жена у меня, и мать плохо разбирались в характерах, все мы держались настороже и каждую минуту ждали свары. Напряжение нас изматывало, но мы словно сами же нарочно его нагнетали; во всем нам чудились намеки, во всем подвохи, во всем уловки. Вы и представить себе не можете, что это за тяжкие были месяцы!

Мысль, что жена снова выкинет, прямо-таки сводила меня с ума; приятели замечали, что я сам не свой, а Искра – тогда она была жива еще – ласкалась ко мне меньше.

Я по привычке разговаривал с ней:

– Ты что это, а?

Она глядела на меня умоляюще, часто-часто виляла хвостиком и чуть повизгивала; ее глаза надрывали мое сердце. У нее тоже детеныши задохлись в утробе. По своему неразумию она и не знала, как я горевал над ее бедой. Их было трое, щеночков, родившихся мертвыми, – все трое одинаковые, липкие, как сироп, серые и лишавые, как крысы. Я вырыл под кустиками лаванды ямку и сложил их туда. Когда, выходя на взгорок за кроликами, мы останавливались передохнуть, она, с этим горестным видом бездетной самки, подбегала к могилке ее обнюхать.

Уже на восьмом месяце, когда дело прочно стало на рельсы, когда беременность моей жены, благодаря советам сеньоры Энграссии, шла к примерному завершению, когда миновало так много времени и так мало осталось, что разумно было бы откинуть опасения, моя тревога и нетерпение достигли такой

силы, что, выйдя из переплета, не повредившись рассудком, я уверился, что уж ни от чего в жизни не помешаюсь.

Лола сработала, как часы: точно в указанный сеньорой Энграсией срок появился на свет – с такой простотой и легкостью, что меня это сразу же удивило, – мой второй сын, вернее сказать, мой первый сын, которого у крестильной купели мы назвали Паскуаль – по имени его отца, вашего покорного слуги. Я хотел назвать его Эдуардо, потому что он родился в день святого и таков обычай в нашем краю, но жена, которая в ту пору была со мной ласкова, как никогда, настаивала, чтобы его назвали моим именем, и из-за сильного обмана моих чувств уговаривать меня пришлось ей недолго. Теперь мне самому не верится, но ручаюсь, что так оно и было – приступы нежности у жены ввели меня в заблуждение, как безусого паренька, я был ей за них благодарен от всего сердца, клянусь вам.

От природы крепкая и сильная, Лола в два дня так оправилась, как будто и не рожала. Мало что в жизни потрясло меня сильнее, чем картина – Лола с распущенной косой кормит малютку грудью; одно это перевешивало с лихвой сотни пережитых мной неприятностей.

Я долгими часами просиживал на полу у кровати. Лола говорила мне тихонько, будто стыдясь:

– Одного я тебе принесла уже...

– Да.

– Красивенького...

– Слава богу.

– Теперь надо беречь его.

– Да, теперь только беречь и беречь.

– От свиней...

Мне покоя не давало воспоминание о бедном братике Ма-риу; если бы с моим сыном стряслась такая беда, я задушил бы его, чтобы избавить от страданий.

– Да, от свиней...

– И еще от лихорадки.

– Да.

– И от солнечного удара...

– Да, и от солнечного удара...

От мысли, что этому нежному куску плоти – моему сыну – грозят такие опасности, я покрывался гусиной кожей.

– Мы привьем ему оспу.

– Когда чуть подрастет...

- И всегда будем обувать, чтобы не резал ноги.
- А когда ему сравняется семь годочков, пошлем его в школу...
- А я научу его охотиться...

Лола смеялась – она была счастлива! Что скрывать, глядя на нее, красивую на редкость, с сыночком на руках, точно богородица, я тоже чувствовал себя счастливым.

- Мы выведем его в люди!

Откуда нам было знать, что господь бог, который все располагает как лучше для мирового порядка, у нас его отымет, что нашу мечту, единственное наше сокровище, все наше богатство – нашего сына – мы потеряем раньше, чем успеем направить его на жизненный путь! Почему любовь всегда покидает нас именно тогда, когда мы в ней особенно нуждаемся?

Хотя я не находил тому объяснения, радость, с какой мы любовались на дитя, сильно меня настораживала. У меня всю жизнь был очень зоркий глаз на несчастье – не знаю, на пользу мне или во вред, – и позже, спустя несколько месяцев, словно чтоб не захирело мое злосчастье, проклятое злосчастье, которому никак не хирелось, это мое предчувствие, как и все другие, оправдалось.

Жена чуть что заговаривала со мной о сыне:

- Славно он у нас выкормлен, что твой кружочек масла?

За вечные и бесконечные разговоры о младенце она мало-помалу делалась мне ненавистна. Я знал – он покинет нас и мы впадем в беспросветное отчаяние, мы запустеем, как те брошенные хутора, где хозяйничают ежевика да крапива, жабы да ящерицы, – я был в этом уверен, предвидел его гибель, не сомневался, что рано или поздно ее не миновать, и уверенность в моем бессилии против того, о чем мне говорило чутье, донельзя терзала мне душу.

Порой я ненароком заглядывался на малыша, и мои глаза тут же наполнялись слезами. Я говорил ему:

- Паскуаль, сыночек...

Он тарацил на меня круглые глазки и улыбался. Жена вмешивалась:

- Паскуаль, славно у нас выкормлен мальчик, а?
- Да, Лола. Дай бог, чтоб и дальше так.
- К чему ты это говоришь?
- Сама знаешь, маленькие дети такие нежные.
- Что ты, не думай о плохом!
- Я не думаю, только нам нужно очень его беречь.
- Очень.

- Глядеть, чтоб не простыл.
- Да... Это была б ему смерть!
- Маленькие дети от простуды умирают...
- Какой-нибудь сквозняк – и...

Разговор умирал медленно, как птицы и цветы, с той же тихой покорностью, с какой – так же медленно – умирают маленькие дети, прохваченные коварным сквозняком...

- Я боюсь, Паскуаль.
- Чего?
- А вдруг он умрет?
- Что ты!
- Детишки в этом возрасте такие слабые!
- Наш сынок крепкий, тельце у него розовое, он всегда смеется.
- Верно, Паскуаль. Я дура!

Она нервно смеялась, прижимая сына к груди.

- Слушай.
- Ну?
- От чего умер сынок у Кармен?
- Тебе-то что?
- Как что? Хочу знать...
- Говорят, засопливился.
- От сквозняка?
- Как будто.
- Бедняжка Кармен, как она радовалась на сыночка! Говорила: личиком, ну, вылитый отец, помнишь?
- Помню.
- Чем слаще надеешься, тем горше терять...
- Да.
- Вот если б заранее знать, сколько проживет каждый ребеночек, чтоб как на лбу написано...
- Молчи!
- Почему?
- Не могу тебя слышать!

Удар по голове заступом не так оглушил бы меня, как слова Лолы.

– Слышал?

– Что?

– Окно.

– Окно?

– Заскрипело, будто сквозняк...

Скрип окна от дуновения ветра смешался с тихой жалобой.

– Спит ребенок?

– Да.

– Вроде сон видит.

– Не слышу.

– И стонет, будто у него что болит...

– Мнится тебе все!

– Дай-то бог! Я б глаза отдала...

Стон ребенка в спальне походил на плач дубков, пронзенных ветром.

– Стонет!

Лола пошла поглядеть, в чем дело; я остался на кухне, куря самокрутку – беда всегда застает меня с самокруткой.

Он прожил еще несколько дней. Когда мы вернули его земле, ему было одиннадцать месяцев – одиннадцать месяцев жизни и забот, которые смахнул какой-то коварный сквозняк...

(11)

Не иначе как сам бог наказывал меня за многие мои прошлые и многие мои будущие грехи! Не иначе как в божьей памяти записано, что несчастье – мой единственный удел, единственная дорога моих печальных дней! Поверьте мне, к несчастью привыкнуть нельзя: мы каждый раз тешим себя обманом, что нынешняя беда – последняя, а потом с глубокой скорбью убеждаемся, что худшее еще впереди...

Мне эти мысли приходят потому, что когда Лола выкинула и вышла драка с Сакариасом, я – и это совершенно точно! – только оттого и терзался тоской, что не подозревал, до чего я еще дойду.

Три женщины окружали меня, когда ушел от нас маленький Паскуаль, три женщины, с которыми я был связан теми или иными узами, хотя порой чувствовал, что они мне не ближе, чем первый встречный, не роднее, чем весь остальной мир, и ни одна из этих женщин, поверьте мне, ни одна не сумела

лаской или подобающим обхождением облегчить мне тяжесть утраты; наоборот, они как сговорились отравить мне жизнь. Эти три женщины были моя жена, моя мать и моя сестра.

И кто бы подумал, а я так надеялся на их участие!

Женщины, как галки, – они неблагодарны и злы.

Они только и делали что повторяли:

- Проклятый ветер унес ангелочка!
- Унес на небо, подальше от нас, грешных!
- Детку, что был как ясное солнышко!
- Как он мучился!
- На моих руках задохся!

Ни дать ни взять похоронный вой, тоскливый и нудный, как ночная пьянка, медленный и тяжелый, как шаг осла.

И так изо дня в день, из недели в неделю... Это был ужас, небесная кара, сущее божье проклятье! Я, однако, сдерживался.

«Любовь, – думал я, – ожесточает их против воли».

И старался не слышать, не обращать внимания, глядеть на их представление, как на кукольный театр, не принимать их слова близко к сердцу... Я решил, что со временем скорбь завянет, как сорванная роза, и, чтобы страдать как можно меньше, хранил свое молчание, как сокровище. Пустые мечты, с каждым днем уводившие меня все дальше от счастливой доли тех, кто рожден для легкой дороги, и как только бог позволил вам укорениться в моем воображении!

Я страшился захода солнца как огня и бешенства; зажечь лампу на кухне около семи вечера для меня было самой мучительной работой за весь день. Все напоминало мне об умершем сыне – тени, разгорание и затухание пламени, ночные звуки, эти ночные звуки, которые слышны еле-еле, но у нас в ушах отдаются как удар железом по наковальне.

Тут же, в трауре, как воронье, сидели три женщины, безмолвные, как трупы, угрюмые и насупленные, как пограничная стража. Порой я заговаривал с ними, пытался сломать лед.

– Холодная стоит погода.

– Да...

Мы снова все замолкали. Я не отступал.

– Сеньор Грегорио вроде раздумал продавать мула. Видно, он ему зачем-то нужен.

– Да...

– Вы на реку ходили?

– Нет...

– А на кладбище?

– Тоже нет...

Вывести их из этого состояния не было никакой возможности. Столько терпения, как на них, я в жизни ни на кого не тратил ни до, ни после. Делая вид, будто не замечаю их странности, я хотел избежать скандала, но он все равно разразился, неотвратимый, как болезни и пожары, как восход солнца и как смерть, – сдержать его никому было не под силу.

Самые страшные трагедии подбираются к людям незаметно, сторожким волчьим шагом и жалят внезапно и исподтишка, как скорпион.

Я мог бы нарисовать их, словно они все еще сидят передо мной, – на губах горькая ехидная усмешка отлюбивших женщин, взгляд сквозь стены уставлен в пространство за много миль от дома. Жестоко тянулись минуты, слова звучали как с того света...

– Ночь спустилась.

– Видим...

Сова, наверно, сидела на кипарисе.

– Та ночь была такая же...

– Да.

– Было немного позднее...

– Да.

– Коварный ветер еще летел над поляхми...

– ...

– Блуждал в оливах...

– Да.

Молчание колокольным гулом снова наполнило комнату.

– Где сейчас летает тот ветер?

– ...

– Тот коварный ветер! Лола, помедлив, ответила:

– Не знаю...

– Наверно, улетел к морю!

– Губя детишек...

Раненая львица так не оскалилась бы, как моя жена.

– Рожаеть – как гранат, лопаешься! А зачем? Чтоб ветер унес роженое?
Поплатишься ты за это!

– Если б подземная вода, что по капле сочится в болото, могла затопить тот ветер!

(12)

– Знаю тебя, как облупленного!

– ...

– Тело твое мозглое ненастья боится!

– ...

– И летнего солнца!

– И декабрьской стужи!

– Для того холила я мои груди, твердые как кремь?

– Для того холила мой рот, свежий как персик!

– Для того принесла тебе двоих детей, чтоб они пережить не смогли ни скока лошади, ни ночного сквозняка!

Она бесновалась, как одержимая всеми чертями, визжала и ярилась, как дикая кошка... Я молча сносил справедливый укор.

– Ты такой же, как твой брат!

Предательский удар жена мне нанесла с наслаждением...

Если гроза застала нас в поле, бежать бесполезно – мы все равно промокнем и только сильней устанем. Нас полошат молнии, будоражат удары грома, и кровь смятенно бьется в висках и горле.

– Поглядел бы твой отец Эстебан, как ты хвост поджимаешь!

– Жидкая у тебя кровь – земли коснется, сразу впитается!

– Как с тобой жена разговаривает!

Уймется она или нет? Солнце блестит для всех, но от света, который слепит альбиносов, негр не сморгнет.

– Хватит!

Мать не смела попрекать меня моей скорбью, скорбью, оставшейся в груди после смерти сына, дитяти, что в свои одиннадцать месяцев был сущей звездочкой.

Я высказал ей это вполне ясно, яснее нельзя.

– Огонь спалит нас обоих, мать.

– Какой огонь?

– С которым вы играете. Она сделала удивленное лицо.

– К чему это ты?

– К тому, что у нас, мужчин, очень суровое сердце.

– Которое ни на что не способно.

– Оно на все способно!

Она не понимала, моя мать не понимала. Она глядела на меня, говорила со мной...
О, если б она на меня не глядела!

– Знаешь, как волки рыщут в зарослях, как ястреб взлетает под облака, как змея подстерегает в камнях?

– Мужчина еще свирепей, чем все они вместе!

– Зачем ты мне говоришь это?

– Так!

Я хотел сказать: «Потому что я вас убью!» Но слова не шли у меня с языка.

Со мной осталась одна сестра, бесталанная, бесчестная, оскорбляющая взгляд порядочных женщин.

– Слыхала?

– Да.

– Ни за что б не поверил!

– Я тоже.

– Никогда не думал, что я пропащий.

– Ты не пропащий, В зарослях всколыхнулся ветер, тот самый ветер, что полетит к морю, губя детишек... Он жалостно скрипел оконной створкой.

Росарио всплакнула.

– Почему ты говоришь, что ты пропащий?

– Не я говорю.

– А эти женщины.

Пламя лампы вздымалось и опускалось, словно дышало; па кухне пахло ацетиленом, его острый приятный запах вонзается в нервы и волнует плоть – эту жалкую мою осужденную плоть, которой в ту пору так недоставало волнения.

Сестра была бледна; жизнь, которую она вела, оттиснула свой жестокий знак у нее под глазами. Я любил ее нежно, так же нежно, как она любила меня.

– Росарио, сестричка...

– Паскуаль...

- Худое время ждет нас обоих.
- Все уладится...
- Дай-то бог! Мать вставила слово:
- Не вижу, как оно уладится.

Жена моя, подлая как змея, ехидно усмехнулась.

- Куда как худо, если надежда на одного бога!

Бог – он сидит выше всех, и взор у него орлиный; он не упускает ни одной мелочи.

- А если б бог все уладил?
- Не так уж он нас любит...

Убиваешь без мысли, я это по себе хорошо знаю; иногда и: без охоты. Просто ненавидишь, ненавидишь яростно, люто, раскрываешь нож и с раскрытым ножом босиком подходишь к кровати, на которой спит твой враг. На дворе ночь, но в окошко светит луна и все хорошо видно. На кровати лежит мертвец, тот, кто будет мертвцом. Ты глядишь на него, слышишь его дыхание; он не шевелится, лежит спокойно, как будто ему ничто не грозит. Спальня ветхая, и мебель пугает тебя своим скрипом, который может его разбудить, ускорить кровавую развязку. Враг чуть откидывает с лица одеяло и поворачивается на другой бок; нет, он не проснулся. Под одеялом его тело кажется обманчиво большим. Ты с опаской нагибаешься, осторожно трогаешь его рукой. Он спит, крепко спит; он не успеет и сообразить...

Но так убивать нельзя, это подло. И ты думаешь повернуть назад и уйти... Нет, невозможно. Все давно решено; это миг, один короткий миг, и потом...

Пойти на попятный никак нельзя. Наступит день, и при свете дня ты не вынесешь ее взгляда, взгляда, который невольно пригвоздит тебя к месту.

Придется бежать, бежать подальше от деревни, туда, где-тебя никто не знает, где в тебе сможет зародиться новая ненависть. Ненависть вызревает годами, а ты уже не ребенок, и когда ненависть разрастется и захлестнет дыхание, жизнь из тебя уйдет. Сердце не вместит больше горечи, и руки бессильно упадут...

(13)

Без малого целый месяц я не писал. Валялся на тюфяке, празднично глядел, как уходит время – время, которое порой летит как на крыльях, а то ползет, как в параличе, – дал волю мечтам: единственному во мне, чему воля не заказана, рассматривал облупины потолка и придумывал, на что они похожи, и за этот длинный месяц по-своему получил от жизни больше удовольствия, чем за все прежние годы, и это несмотря на все печали и тревожения.

Когда на грешные души нисходит мир, он для них все одно что дождь полю под паром – иссохшее тучнеет, незасеянное плодоносит. Говорю так потому, что, хотя

очень долго, куда дольше, чем следует, не понимал, что покой – это благословение небес, самое драгоценное благословение, на какое дано уповать нам, бедным и живущим в страхе, теперь, когда я знаю это, теперь, когда покой вкупе с любовью меня осеняет, я упиваюсь им в таком исступлении и радости, что очень боюсь – хотя дышать мне осталось немного, совсем немного! – вычерпать его до срока. Вероятно, если бы мир посетил меня несколько лет назад, я не иначе как ушел бы в монахи, поскольку, видя в нем такой свет и такое благо, не думаю, чтоб в ту пору он прельстил меня меньше, чем теперь. Но бог этого не захотел, и вот я сижу в тюрьме, надо мной висит приговор, и не знаю, что лучше – чтоб он обрушился разом или чтоб продлилось мое смертное мучение, которым я, несмотря ни на что, крепко дорожу, а будь мое житье гладким, может – если только так бывает, – дорожил бы меньше. Вы понимаете, что я хочу сказать.

За этот длинный месяц, посвященный мной раздумьям, я через все прошел – через горе и радость, грусть и веселье, веру, отвращение и отчаяние... Боже, как слаба плоть, которую ты подверг испытанию! Когда одно состояние души исчезало, уступая место другому, я дрожал как в лихорадке и на глаза набегали боязливые слезы. Это много – тридцать дней подряд думать об одном, растравлять свою совесть, неотступно терзаться мыслью, что за все прошлое зло попадешь в ад... Я завидую отшельнику с добротой в лице, птице в небе, рыбе в воде и даже зверюшке в зарослях – память их не тревожит. Плохо, когда твое прошлое исполнено греха! Вчера я исповедался – сам вызвал священника. Пришел старенький, облезлый попик, отец Сантьяго Луруэнья, добрый и сокрушенный, отзывчивый и исхлопотавшийся, как муравей.

Он здешний капеллан и по воскресеньям служит обедню для сотни убийц, полдюжины охранников и трех-четырех монашек.

Я встретил его стоя.

– Добрый день, преподобный отец.

– Привет, сын мой. Говорят, ты меня звал.

– Да, сеньор, звал.

Он подошел ко мне и поцеловал меня в лоб. Много лет уже никто меня не целовал.

– Захотел исповедаться?

– Да, сеньор.

– Сын мой, ты меня радуешь!

– Я и сам рад, преподобный отец.

– Бог все прощает, он очень добр...

– Да, преподобный отец.

– И счастлив, когда заблудшая овца снова прибивается к стаду...

– Да, преподобный отец.

– ...а блудный сын возвращается в отчий дом.

Он ласково держал меня за руку, положив ее на сутану, и глядел мне в глаза, как будто хотел, чтоб я лучше его понял.

– Вера – это свет, ведущий наши души сквозь мрак жизни.

– Да...

– Это чудотворный бальзам для болящих душ...

Дон Сантьяго был взволнован, его голос дрожал, как у испуганного ребенка. Он глядел на меня, улыбаясь кроткой улыбкой, точно святой.

– Знаешь ли ты, что такое исповедь? Я трусил ответить, еле слышно сказал:

– Не очень.

– Не смущайся, сын мой, от рождения этого никто не знает.

Дон Сантьяго разъяснил мне кое-какие вещи; до конца я их не понял, но, должно быть, они были правдой, поскольку походили на правду. Мы проговорили долго, чуть ли не с полудня до самого вечера; когда наша беседа кончилась, солнце уже скрылось за горизонтом.

– Приготовься получить прощение, сын мой, прощение, которое дарю тебе во имя господина бога нашего... Молись со мной: господи Иисусе Христе...

Когда дон Сантьяго благословлял меня, я изо всех сил старался, чтоб в голове у меня не было скверных мыслей, и, смею вас уверить, принял благословение как нельзя лучше. Много пережил я в жизни стыда, очень много, но такого еще не переживал.

Всю ночь я не мог сомкнуть глаз и встал сегодня усталый и разбитый, как будто меня отколотили. Однако, раз уж я выпросил у начальника такую уйму бумаги и раз мне, упавши духом, нет иного средства выйти из этого состояния, кроме маранья бумаги, и чем больше, тем лучше, попробую снова взяться за рассказ, продолжить его от того места, на котором я остановился, и привести свои воспоминания к концу. Посмотрим, хватит ли у меня сил, а их мне понадобится немало. Когда я думаю, что стоит событиям малость ускорить ход – и мой рассказ оборвется на половине, останется как бы калеккой, на меня находят нетерпение и спешка, но я считаю себя обязанным и стремлюсь подавлять их, поскольку, как я полагаю, если и при том, что я пишу так, как сейчас, то есть неторопливо, с полным вниманием к делу, рассказ у меня выходит не во всем ясный, то, хлынув из меня без удержу, он получится такой нескладный и несуразный, что его и родной отец, то есть я, не узнает. Эти предметы, в которых важную роль играет память, требуют самого нежного обхождения, потому что, напутав в событиях, дела ведь ничем не поправишь, разве что изорвешь бумагу да начнешь заново, а этого я всячески стараюсь избежать, памятуя, что вторые части никогда хороши не бывают. Вы, может, сочтете тщеславным это мое усердие к тому, чтоб

второстепенное выходило у меня хорошо, тогда как главное идет из рук вон плохо, и, может, подумаете с усмешкой, что я много на себя беру, стараясь не торопиться, чтоб лучше вышло то, что любой человек с образованием сделал бы походя, но, приняв в соображение, что писать почти безостановочно четыре месяца подряд предполагает с моей стороны напряжение сил, несравнимое ни с какой другой деятельностью в моей жизни, вы, наверно, найдете оправдание для моего рассуждения.

В жизни все не так, как нам представляется с первого взгляда; оттого и случается, что, когда мы подступаем к чему-то вплотную, начинаем над чем-то работать, оно открывает нам такие удивительные и даже вовсе неизвестные стороны, что от нашего первоначального представления порой не остается и следа; так бывает с лицами людей, которые мы воображаем заранее, с городами, куда мы едем, составив у себя в голове то или иное о них понятие, мы мгновенно его забываем, как только глянем на подлинное. Именно это произошло у меня с моей писаниной – поначалу я думал справиться с ней за восемь дней, а сегодня уж миновало сто двадцать, и я только посмеиваюсь, вспоминая свою наивность.

Думаю, что рассказывать про дурные дела, в которых ты раскаялся, – не грех. Дон Сантьяго сказал мне, что я могу это делать, если оно приносит мне утешение, и так как действительно приносит, а дон Сантьяго, надо ожидать, по части заповедей разбирается что к чему, я не вижу богохульства в том, что продолжу мой рассказ. Бывают случаи, когда мне больно в точности пересказывать подробности, большие и малые, моего печального житья-бытья, но, как бы для равновесия, выпадают минуты, когда я радуюсь при этом самой настоящей радостью, – может, потому, что, рассказывая, чувствую, что так далек от всего прошлого, как будто говорю понаслышке и о незнакомом человеке. До чего велика разница между тем, как было, и тем, как я б постарался, чтоб было, если б мог начать все заново! Надо, однако, примириться с неизбежным, сделанного не воротишь, ну, да взявшись за гуж, не говори, что не дюж, а впредь надо стараться, чтоб старое не повторялось, и я и стараюсь, но, правда, тюрьма мне подсобляет. Не стану в этот последний час жизни напускать на себя излишнюю кротость, а то мне уж слышится, как вы говорите: поздно за хвост, коли за гриву не удержался, и пусть лучше эти слова не будут сказаны, но тем не менее хочу все поставить на свое место и заверить вас, что был бы образцовым семьянином, пойдя мое житье с самого начала по нынешнему безмятежному курсу.

Продолжу мой рассказ. Месяц не писать – длинный роздых для человека, у которого удары сердца все сочтены, и чрезмерный покой для того, кто привык к беспокойству.

(14)

Я не тратил времени на сборы: есть дела, которые не терпят промедления, и побег – одно из них. Кинул деньги из шкатулки в кошелек, съестное в котомку, а груз худых мыслей на дно колодца, взял ноги в руки и, как вор, под покровом ночной темноты, выбрался на дорогу и пошел от деревни куда глаза глядят. К

рассвету, когда кости у меня заныли от усталости, я отшагал таким манером не меньше трех лиг. Мешкать мне не хотелось – в этих местах меня все еще могли узнать, поэтому я вздремнул только самую малость в оливковой роще у дороги, перекусил из своих запасов и пустился дальше с намерением сесть на поезд, как только он подвернется. Встречные смотрели на меня с удивлением – видно, я выглядел заправским путешественником, а дети в попутных деревушках ют любопытства бежали за мной следом, как за цыганом или дурачком. В их беспокойных глазах и шалостях, которые меня нисколько не обижали, сквозило сочувствие, и если б в ту пору я не боялся женщин пуще холеры, я, может, решился бы подарить им какой-нибудь пустяк из тех, что при себе имел.

Поезд я перехватил в Дон-Бенито и попросил билет до Мадрида с намерением в столице не задерживаться, а ехать дальше, до какого-нибудь порта, откуда можно махнуть в Америку. Поездка прошла для меня приятно – вагон, в котором я ехал, был не без удобств, а кружение полей за окном, как будто на простыне, которую тянет чья-то невидимая рука, было мне в новинку. Когда все пассажиры вышли и я догадался, что мы прибыли в Мадрид, столица все еще представлялась мне такой далекой, что сердце у меня екнуло – это ощущение в груди бывает всегда, когда что-то окончательное, чего уж не обратить вспять, совершается раньше, чем ты ожидал.

Я был наслышан о великом мадридском жульничестве, а приехали мы в ночную пору – для воров и мошенников ограбить меня всего сподручнее, поэтому я решил, что благоразумнее будет отложить поиски жилья до рассвета, а ночь передумать на скамейке, на вокзале их было много. Так я и сделал – выбрал скамейку с краю, подальше от главной суতোлки, устроился поудобнее и заснул мертвым сном под одной только защитой ангела-хранителя, а ведь, укладываясь, думал—буду спать, как куропатка, одним глазом, а другим караулить. Я крепко проспал чуть не до утра, но когда проснулся, почувствовал в костях такой холод, а на теле такую сырость, что решил ни минуты больше на вокзале не оставаться. Выйдя на улицу, я подошел к кучке рабочих, собравшихся у костра, приняли меня дружелюбно, и у жаркого огня мне удалось отогреться. Разговор поначалу совсем умирал, но вскоре оживился, и, так как люди они, на мой взгляд, были неплохие, а друзей в Мадриде мне как раз недоставало, я послал бродяжку, что отирался возле, за литром вина; из этого литра ни мне, ни тем, что со мной были, не перепало ни капли – малец оказался дошлый, деньги взял и только его и видели. Хоть они и смеялись над проделкой мальчишки, я твердо задумал их угостить, потому что свести с ними дружбу было в моих интересах, и, дождавшись рассвета, пошел с ними в кофейню и заплатил за кофе с молоком для всей честной компании, за что они были мне благодарны и окончательно расположились в мою пользу. Я заговорил с ними о жилье, и один из них, по имени Анхель Эстевес, вызвался меня приютить у себя на квартире и кормить два раза в день – все за десять реалов. Сперва мне показалось, что это недорого, а вышло, что пока я жил у него в Мадриде, мне что ни день приходилось ему приплачивать самое меньшее еще десять реалов, потому что вечерами он

обыгрывал меня в семь с половиной – игру, которой он и его жена очень увлекались.

В Мадриде я пробыл недолго, меньше двух недель, и все это время посвятил развлечениям, стараясь развлекаться как можно дешевле, и покупке разных нужных мне мелочей, находя их по сходной цене на Почтовой улице и на Большой площади. К вечеру, этак на заходе солнца, я отправлялся истратить песету в кафешантан на Таможенной улице – он назывался «Райский концерт» – и просиживал там, смотря актерок, пока не приспевало время ужинать; тогда я шел на чердак к Эстевесу на улицу Телки. К моему приходу он, как правило, бывал уже дома. Жена выставляла жаркое с овощами, мы ели, а потом в компании двух соседей, которые забирались к нам на чердак каждый вечер, до зари сидели за картами вокруг столика с жаровней, сунув ноги чуть не в самые углы. Жизнь такая была мне по сердцу, и если б не мое твердое решение не возвращаться в деревню, я спустил бы в Мадриде все до последнего гроша.

Жилище моего хозяина, выходявшее на самую крышу, смахивало на голубятню, но, так как окна в нем не отворялись, а жаровня грелась день и ночь, сидеть вокруг нее, держа ноги под столом, было не так уж плохо. В комнате, которую мне отвели, потолок спускался к тому месту, где лежал мой тюфяк, и я не раз, пока не привык, стукался головой о выступавшую балку, про которую вечно забывал. Но мало-помалу я освоился и потом уж наперечет знал все выступы и уступы в спальне и мог забраться в постель хоть вслепую. Все зависит от привычки.

Жена у Эстевеса, по имени, как она сама мне сказала, Консепсьон Кастильо Лопес, была молодая, собой крохотная, с плутовской рожицей, которая придавала ей симпатичный, заносчивый и хитроумный вид, каковы, по молве, мадридки и есть; глядела она на меня безо всякого стыда, говорила со мной о чем угодно, но скоро мне показала – как только я подступил на достаточно близкое расстояние, – что каши с ней не сварить и ждать от нее нечего. Она была влюблена в своего мужа, и для нее в целом свете не существовало мужчины лучше его, а жаль, потому что была она на редкость хорошенькая и приятная, хоть, на мой вкус, и сильно отличалась от женщин наших мест. Но так как ни малейшего повода она мне не давала, а, с другой стороны, сам я как-то робел, в моих глазах она постепенно стала отдаляться от меня и расти и в конце концов показалась такой недоступной, что я забыл о ней и помышлять. Муж ревновал ее, как султан, и, надо думать, мало доверял своей жене, потому что не выпускал ее даже на лестницу; помню, в одно воскресенье вздумалось ему пригласить меня прогуляться с ними по Укромному саду, так он все гулянье проукоорял ее – то, мол, глядит на того, то не гляди на этого, а она сносила его укоры с довольным видом и даже ласковым выражением на лице, что меня больше всего сбивало с толку, потому что я меньше всего этого ждал. В саду мы прохаживались по аллее вокруг пруда, и на одном круге Эстевес завел громкий спор с другим мужчиной, шедшим навстречу, причем оба сыпали такой скороговоркой и употребляли такие редкостные выражения, что половину из их крика я не разобрал, хотя было ясно, что сцепились они из-за того, что другой поглядел на Консепсьон. Но что меня и

до сих пор больше всего удивляет, так это то, что они, изругав друг друга на чем свет стоит, не сделали даже попытки перейти от слов к делу. Каждый обложил другого по матери, отлаял сволочью и рогачом, посулился выпустить кишки, но – и это самое любопытное – не тронул и пальцем. Меня с непривычки их странный обычай напугал; в разговор я, понятно, не ввязывался, но в случае чего, само собой, вступился бы за приятеля. Когда им надоело переругиваться, они разошлись каждый своей дорогой, и на том дело и кончилось.

Здорово, нечего сказать! Если б мы, деревенские, брали глоткой, как городские, тюрьмы обезлюдели б и уподобились необитаемым островам!

Недели через две, так хорошенько и не ознакомившись с Мадридом – этот город одним махом не узнаешь, – я решил трогаться в путь дальше, к намеченной цели; сложил небольшой багаж, весь уместившийся в купленный чемоданчик, раздобыл билет на поезд и в сопровождении Эстевеса, который не разлучался со мной до самой последней минуты, отправился на вокзал – на другой вокзал, не тот, на который приехал; пустился я в Ла-Корунью, где, мне сказали, скрещиваются маршруты пароходов, плывущих в Америку. Поездка до порта тянулась дольше, чем из деревни до Мадрида, – расстояние было длиннее, но, так как часть пути пришлось на ночную пору, а я не такой человек, чтоб не спать из-за тряски и стука поезда, время пролетело для меня быстрее, чем думал я сам и говорили соседи по вагону; проснувшись, вскоре очутился я на берегу моря, и оно подавило меня как мало что еще па этом свете, до того показалось мне велико и глубоко.

Справив первые же дела, я полностью осознал, какой я был простак, веря, что песет у меня в кармане хватит добраться до Америки. До той поры мне и в голову не входило задуматься о стоимости морского плавания! Придя в агентство, я обратился в окошечко, откуда меня послали к другому; там я прождал в очереди не меньше трех часов, и, когда подошел к служащему и хотел расспросить его, куда мне лучше поехать и сколько это будет стоить, он, ни слова не говоря, повернулся ко мне спиной и тут же обернулся снова, держа в руке бумагу.

– Маршруты, расценки... Отправление из Ла-Коруньи по пятым и двадцатым числам каждого месяца.

Я попытался втолковать ему, что мне нужно с ним поговорить о моем плавании, но все было напрасно. Он так сухо оборвал меня, что я растерялся.

– Прошу не задерживаться.

Я отошел от него с маршрутами и расценками, повторяя про себя дни отправления. Что делать!

В доме, где я поселился, жил также один артиллерийский сержант; он взялся расшифровать мне бумаги, которые я получил в агентстве, но, как только он назвал мне цену и условия оплаты, душа у меня ушла в пятки, потому что я сразу же рассчитал, что мне не хватит и на полбилета. Задача стояла передо мной нелегкая, и решения я не находил; сержант же – звали его Адриан Ногейра –

очень меня поощрял и, сам побывавши за морем, без усталости рассказывал мне про Гавану и даже про Нью-Йорк. Чего скрывать, я слушал его как замороженный и отродясь никому еще так не завидовал, но, понимая, что от его болтовни мне только и пользы, что зубы отрастают, в один прекрасный день попросил его больше о том не говорить, поскольку принял решение остаться на родине; на лице у него выразилось недоумение, какого я сроду не видывал, но будучи человеком, как все галисийцы, тактичным и сдержанным, он со мной на эту тему больше ни разу не заговаривал.

Я всю голову изломал, прикидывая, что делать дальше, и, так как любой выход из положения был по мне, лишь бы только не возвращаться в деревню, я хватался за всякую работу, какая подвертывалась, – таскал чемоданы на вокзале и тюки на молу, подсоблял на кухне в гостинице «Железнодорожная», одно время служил ночным сторожем при табачной фабрике – и перебрал всего понемножку, покуда, до самого конца моего проживания в морском порту, не поселился в доме Апашки, что на Попугайной улице по левую сторону, если идти вверх, где стал прислугой за все, хотя главной моей обязанностью было выставлять из заведения тех, по ком было видно, что на уме у них одно бесчинство.

У Апашки прожил я полтора года да перед тем уже полгода скитался по свету вдали от родного дома, и вместе оно привело к тому, что я все чаще про него вспоминал и думал о том, что там оставил; сперва это бывало со мной только по ночам, когда я забирался в свою постель, что раскладывали мне на кухне, но мало-помалу думы делались все длинней и неотвязней, и под конец скука – как выражались в Ла-Корунье – до того мной завладела, что я уж дожидаться не мог, когда снова очутюсь в домике у дороги. Я считал, что семья примет меня хорошо – время все излечивает, – и желание возвратиться разрасталось во мне, как грибы в сырости. Стребовав с должников отданные займы деньги – получить их стоило мне кое-какого труда, но ведь без настойчивости никто не добьешься, – я в один прекрасный день распрощался со всеми моими покровителями с Апашкой во главе и пустился в обратный путь, предвкушая его счастливый конец, да только дьявол, чего я тогда еще не знал, за время моего отсутствия распорядился моим домом и женой на свой лад. Сказать начистоту, ничего удивительного, что моей жене, молодой и красивой, по недостатку воспитания жить без мужа сделалось невмочь; побег мой – самый большой мой грех, который я не должен был совершать ни в коем случае и за который бог покарал меня, пожалуй, даже слишком жестоко...

(15)

Семь дней истекли с моего возвращения, и жена, которая так ласково – внешне по крайней мере – меня встретила, развеяла мои мечтания, сказав мне:

– У меня из головы нейдет, что я очень холодно тебя приняла.

– Нет, что ты!

– Я ведь не ждала тебя, понимаешь? Не надеялась, что ты вернешься...

– А теперь ты рада?

– Да, теперь рада...

Лолу как подменили, она во всем была другая.

– Ты никогда не забывал меня?

– Никогда. Чего б я вернулся? Жена опять помолчала.

– Два года – срок долгий...

– Долгий.

– За два года земля много оборотов делает...

– Два. Мне один моряк в Ла-Корунье сказал.

– Не говори мне про Ла-Корунью!

– Почему?

– Потому. Чтоб она пропала, Ла-Корунья!

Голос у нее стал гулкий при этих словах, и глаза потемнели, как лес.

– Много оборотов!

– Много!

– А ты тут сиди и думай – может, его за два-то года и бог прибрал!

– Еще что скажешь?

– Ничего!

Лола горько расплакалась. Еле слышно она мне призналась:

– У меня ребенок будет.

– Опять ребенок?

– Опять.

Я так и обомлел.

– От кого?

– Не спрашивай!

– Не спрашивать? Захочу и спрошу! Я твой муж! Она во весь голос закричала:

– Хорош муж! Смерти моей желает, на два года бросил, бегаёт от меня, как от прокаженной! Муж...

– Замолчи!

Да, лучше молчать, мне говорила это совесть. Пусть идет себе время, родится дитя... Соседи начнут судачить о том, как гуляла моя жена, поглядывать на меня свысока, при виде меня шушукаться...

- Позвать сеньору Энграсию?
 - Она меня смотрела уже.
 - Что сказала?
 - Все идет хорошо.
 - Да нет, я не про то...
 - А про что?
 - Так... Надо нам уладить это дело промеж нас троих. Жена поглядела на меня с мольбой.
 - Паскуаль, да неужели ты можешь?
 - Очень даже могу, Лола. Он не первый.
 - Паскуаль, я ни одного так сильно не жалела, у меня предчувствие, что он жить будет...
 - На мой позор!
 - А может, на твое счастье, люди-то не знают!
 - Люди? Как пить дать узнают!
- Лола улыбалась, как побитый ребенок, – глядеть было больно.
- А вдруг нам удастся так устроить, что не узнают!
 - И все равно узнают!
- Видит бог, я не был злодеем, но обычай держит человека, как узда осла. Если б мое мужское положение разрешало мне простить, я бы простил, но мир таков, каков он есть, и плыть против течения – пустая затея.
- Лучше позвать!
 - Сеньору Энграсию?
 - Да.
 - Нет, ради бога! Опять выкидывать? Всегда впустую рожать, гноище плодить?
- Она повалилась на пол целовать мне ноги.
- Я жизнь тебе отдам, только попроси!
 - Она мне ни к чему.
 - Глаза мои, кровь мою за то, что тебя обидела!
 - Не надо.
 - Груды мои, все мои волосы, зубы мои! Все тебе отдам, что захочешь, только его не отнимай, я одним им жива!

Лучше было дать ей выплакаться – наплачется до изнеможения, истерзает нервы в клочья и успокоится, образумится.

Видно, мать моя, подлая сводня, была всему виновница – она пряталась и старалась не попадаться мне на дороге. Еще бы, ведь правда глаза колет! Мать говорила со мной как можно меньше, если я входил в одну дверь, выходила в другую, еду мне готовила в положенное время, чего у нас никогда не водилось ни до, ни после (горько сознавать, что, если не нагонишь страху, тебе не дадут жить в покое!), и такую во всех своих повадках выказывала кротость, что я даже стал смущаться. Про Лолу я с ней говорить не хотел – это дело касалось нас двоих и нам двоим и было его решать. И вот я позвал ее, Лолу то есть, и сказал:

– Можешь успокоиться.

– А что?

– Сеньору Энграсию никто звать не будет. Она замерла на месте, как цапля.

– Ты очень добрый, Паскуаль.

– Добрей, чем ты думаешь.

– И добрей, чем я.

– Не о том разговор. С кем оно было?

– Не спрашивай!

– Лола, лучше, если я узнаю.

– Боюсь сказать тебе.

– Боишься?

– Ты его убьешь.

– Так любишь его?

– Я его не люблю.

– Тогда почему?

– Потому что тебе кровь словно на роду написана.

Эти слова как выжженные отпечатались у меня в памяти и как выжженные со мной и умрут.

– А если я поклянусь тебе, что ничего не сделаю?

– Не поверю.

– Почему?

– Потому что этого не может быть, Паскуаль, ты мужчина!

– Слава богу, но у меня и слово тоже крепкое. Лола кинулась ко мне в объятия.

– Я бы годы жизни отдала, чтоб ничего не было и в помине!

- Верю тебе.
- И чтоб ты меня простил!
- Я прощаю тебя, Лола, но ты мне скажешь...
- Да.

Лицо ее побледнело, как никогда еще не бледнело, исказилось, и меня охватил страх, ужасный страх, что, вернувшись, я принес с собой беду. Я обнял Лолину голову, гладил ее, произносил самые нежные слова, какие только может сказать самый верный муж, ласкал ее на своем плече, понимая, как сильно она страдает, и боясь, что от моего вопроса она лишится чувств.

- Кто это был?
- Щеголь!
- Щеголь? Лола не ответила.

Она была мертва – голова свалилась на грудь, волосы на лицо... Минуту еще она сидя сохраняла равновесие и тут же рухнула на кухонный пол, весь выложенный камешками...

(16)

Гнездо скорпионов перевернулось у меня в груди, в каждой капле крови моих жил сидело по змее, жалившей мое тело.

Я кинулся искать убийцу моей жены, поругателя моей сестры, человека, причинившего мне больше всего горя. Найти его было нелегко, потому что он скрывался. Проходимец узнал о моем возвращении, сбежал и не показывался в Альмендралехо четыре месяца. Решив изловить его, я отправился в заведение Ньевес и повидался с Росарио... Как она изменилась! Постарела, лицо в ранних морщинах, глаза запали, волосы но вьются. Жалость брала глядеть на нее, а ведь была она такая красивая.

- Что тебе нужно?
- Мужчина один нужен.
- Плох мужчина, если бегаёт от врага.
- Плох...
- Плох мужчина, если увилывает от жданной встречи.
- Плох... Где он?
- Не знаю. Вчера уехал.
- Куда уехал?
- Не знаю.
- Не знаешь?

– Нет.

– Это правда?

– Как то, что на дворе белый день.

Похоже было, она не врала. И она доказала мне свою любовь тем, что, бросив Щеголя, вернулась домой заботиться обо мне.

– Не знаешь, далеко уехал?

– Ничего мне не сказал.

Делать нечего, пришлось подавить свой гнев. Не годится мужчине срывать на горемыке зло, накипевшее на подлеца.

– Ты знала про то, что было?

– Да.

– И молчала?

– Кому я могла сказать?

– Никому...

И верно, ей и впрямь некому было сказать. Есть тяготы, которые не всякого трогают, их надо нести в одиночку, как мученический крест, а другим о них ни слова. Людям про все, что с тобой делается, не расскажешь, по большей части они тебя и не поймут.

Росарио уехала со мной.

– Не хочу оставаться тут ни одного дня. Устала я.

Домой она вернулась оробелая и вроде испуганная, присмирившая и работающая, какой я сроду ее не знал; меня окружила заботой, за которую я так и не отблагодарил ее сполна, а что еще хуже – теперь уж, увы, и не отблагодарю. Присматривала, чтоб у меня всегда была чистая рубашка, хозяйство вела – лучше нельзя и на том сберегала для меня четвертак-другой, держала обед на жару, если я запаздывал... По сердцу мне была такая жизнь! Дни пролетали легкие, как пух, ночи были тихие, как в монастыре, и мрачные мысли, которые в прежнее время не давали мне покоя, как будто начали от меня отступать. Заполoshное житье в Ла-Корунье казалось таким далеким, драка на ножах порой и вовсе уходила из памяти. Воспоминание о Лоле оставалось глубокой раной в сердце, но постепенно она затягивалась, и минувшие времена мало-помалу забывались. Но злая моя звезда, эта злая звезда, которая как задалась упорно меня преследовать, на мою беду пожелала их воскресить.

Случилось это в кабачке Мартинете, сказал мне о том сеньорите Себастьян.

– Видел ты Щеголя?

– Нет, а что?

– Да ничего. Говорят, он появился в деревне.

– В деревне?

– Говорят.

– Не ври!

– Ты, брат, на меня не кидайся. За что купил, за то и продаю. Зачем я стану тебе врать?

Мне надо немедленно было выяснить, правду ли он сказал. Я побежал домой, я летел, как стрела, не глядя, куда ступаю. На пороге столкнулся с матерью.

– Где Росарио?

– Дома.

– Одна?

– Да, а что?

Я не ответил, вошел на кухню и увидел, что она мешает похлебку.

– Где Щеголь?

Росарио как будто вздрогнула, подняла голову и спокойно – по крайней мере с виду спокойно – обронила:

– Почему это ты меня спрашиваешь?

– Потому что он в деревне.

– В деревне?

– Так мне сказали.

– Ну, так сюда он не заглядывал.

– Это точно?

– Клянусь тебе!

Она могла и не клясться; это была правда – он не приходил еще, но вскоре явился, заносчивый, как пиковый король, хвастливый, как петух.

В дверях он наткнулся на караулившую мать.

– Паскуаль дома?

– Зачем он тебе?

– Так. Потолковать надо об одном деле.

– Об одном деле?

– Да, об одном деле, которое касается нас двоих.

– Входи. Он на кухне.

Щеголь вошел в шапке, насвистывая песенку.

– Привет, Паскуаль!

– Привет, Пако! Шапку сними, ты не на улице. Щеголь снял шапку.

– Пожалуйста, если хочешь.

Он старался напустить на себя спокойный и невозмутимый вид, но у него ничего не получалось; заметно было, что он не в своей тарелке и побаивается.

– Привет, Росарио!

– Привет, Пако!

Сестра улыбнулась ему трусливой улыбкой, от которой мне стало противно; он тоже улыбался, только губы у него как будто побелели.

– Знаешь, зачем я приехал?

– Говори.

– Забрать Росарио!

– Так я и подумал. Нет, Щеголь, Росарио тебе не забрать.

– Не забрать?

– Нет.

– А кто мне помешает?

– Я.

– Ты?

– Да, я. А что, по-твоему, мала помеха?

– Не велика...

В ту минуту я был холоден, как ящерица, и мог точно рассчитывать все свои действия. Я извернулся, смерил расстояние и, не дав ему договорить, чтоб не получилось, как в прошлый раз, с такой силой ударил его по лицу скамеечкой, что он чуть не замертво грохнулся навзничь на колпак очага. Он попробовал привстать, выхватил нож, лицо его пылало таким огнем, что страшно было глядеть; но ребра у него на спине были сломаны, и он не мог подняться. Я схватил его, вытащил на обочину дороги и там отпустил.

– Щеголь, ты убил мою жену...

– Она была потаскуха!

– Пускай, а ты ее убил. Ты обесчестил мою сестру...

– Когда я взял ее, у нее никакой чести и в помине не было!

– Пускай, а погубил ее ты! Может, уймешься? Ты набивался со мной на драку и получил. Я не хотел тебя увечить, ломать тебе ребра...

– Ничего, срастутся, и тогда...

– Что тогда?

- Застрелю тебя, как бешеную собаку!
- Берегись, ты у меня в руках!
- Ты меня не убьешь!
- Не убью?
- Нет.
- Почему это? Очень уж ты уверен!
- Потому что не родился еще такой человек! Парень храбрился.
- Ну, уйдешь?
- Уйду, когда захочу!
- Сейчас!
- Верни мне Росарио!
- Не верну!
- Верни, а то убью!
- Где тебе! Убирайся с тем, что получил!
- Отдашь мне ее?
- Нет!

Щеголь, собрав все силы, попытался сбить меня с ног, Я схватил его за шею и пригнул к земле.

- Убирайся отсюда!
- Не уберусь!

Мы поборолись, я повалил его на землю и, надавив коленом на грудь, признался:

- Потому не убиваю тебя, что ей обещал...
- Кому?
- Лоле.
- Значит, она меня любила?

Слишком уж был он наглый. Я надавил чуть сильнее... В груди у него шипело, как мясо на вертеле... Из рта полилась кровь. Когда я поднялся, его голова бессильно откинулась набок...

(17)

Три года меня держали в заключении, три длинных года, долгих, как горе, но если вначале я думал, что они никогда не минуют, позже я вспоминал их как сон. Три года, день за днем, работал я в сапожной мастерской тюрьмы, на прогулках грелся во дворе на солнышке, милом солнышке, к которому чувствовал я такую

благодарность, наблюдал, изнывая душой, как ползут часы, часы, отсчет которых, на мою же беду, до срока прервало хорошее мое поведение.

Горько думать, что в тех редких случаях жизни, когда мне приходило в голову вести себя не слишком скверно, роковая судьба, злая звезда, которой, как я уже говорил вам, словно нравилось меня преследовать, так все выворачивала и располагала, что добрые дела не приносили моей душе ни на грош пользы. И мало того, что от них не было пользы, они к тому же, по причине их искажения и извращения, толкали меня к еще худшему злу. Если б я вел себя плохо, я остался бы в Чинчилье на все двадцать восемь лет, что мне отверстали, шил бы заживо, как все заключенные, сходил с ума от тоски, отчаялся б, проклял божий промысел и под конец возненавидел весь свет, но зато я сидел бы там, искупая совершенное и неповинный в новых кровавых преступлениях, пусть за решеткой и под замком, но зато в безопасности от палача, как новорожденный младенец, на котором нет никакой вины, кроме первородного греха. Если б я вел себя середка на половинку, как более или менее все заключенные, мои двадцать восемь лет превратились бы в четырнадцать или шестнадцать; к тому времени, как мне выйти на свободу, мать успела б помереть своей смертью, сестра Росарио была б уже не молода, а без молодости и не красива, а без красоты и не опасна, а я, жалкий, конченный неудачник, вызывающий у вас и всего общества так мало сострадания, я вышел бы из тюрьмы смирный, как овечка, мягкий, как одеяло, и, вероятно, мне уже не грозила б опасность нового падения. Как знать, жил бы теперь я спокойно в каком-нибудь месте, зарабатывал на пропитание и старался б забыть прошлое и думать только о будущем, и может, мне это уже удалось бы... Но я вел себя как нельзя лучше, улыбался, хоть было тошно, из кожи вон лез, выполняя, что приказывали; я растрогал правосудие, добился хороших отзывов начальства... и меня выпустили, передо мной распахнули ворота и без защиты выставили злу на растерзание. Мне сказали:

– Ты отбыл свое, Паскуаль, возвращайся к борьбе, к жизни, снова всех терпи, со всеми говори, со всеми якшайся...

И думая, что оказывают мне милость, меня безвозвратно погубили.

Размышления эти не приходили мне на ум, когда я в первый раз писал и эту главу, и две следующие, но, хоть вам оно покажется невероятно и вы мне, чего доброго, не поверите, у меня их выкрали (до сих пор не пойму, зачем), и вот, с одной стороны, расстроенный этой подлостью, не имеющей оправдания, которая причиняет мне такое огорчение, а с другой – тяготясь повторением старого, что требует насилия над памятью и процеживания своих мыслей, я и предался рассуждениям, а так как не накладывал на себя покаяния противиться собственной воле – по слабости моего духа, если и не по великим моим винам, довольно с меня и тех покаяний, что я несу, – я оставляю здесь эти рассуждения в том виде, в каком они вылились из-под пера, и можете судить о них как вам угодно.

Выйдя на волю, я нашел, что поля выглядят унылей, куда унылей, чем мне представлялось в тюрьме. В своих мечтах я воображал себе землю, не знаю уж с

какой стати, сплошь в заливных лугах, зеленых и цветущих, и тучных золотых нивах, на которых крестьяне прилежно трудятся от зари до зари и весело расппевают песни, держа под рукой бурдюк вина, а в голове одни хорошие мысли; но по выходе я увидел пустоши, голые и сухие, как кладбища, безлюдные и заброшенные, как сельская часовня на другой день после праздника святой покровительницы.

Чинчилья – городишко неприветливый, как все ламанчцы вообще, подавленный какой-то глубокой тоской, серый и бесцветный, как все места, где жители не кажут носа на улицу, и в нем я пробыл ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы сесть на поезд, который должен был отвезти меня в мою деревню, в мой дом, к моей семье; в деревню, которую я снова найду на том же месте, в дом, сверкающий на солнце, как драгоценность, к семье, где ждут меня позднее и не помышляют, что скоро я буду с ними, к матери, которую бог, может быть, смягчил за эти три года, к сестре, моей любимой сестре, моей святой сестре, которая, увидав меня, запрыгает от радости.

Поезд в Чинчилью запоздал, запоздал на несколько часов. Удивительно мне, чтоб человеку, прождавшему годы, было невтерпех подождать часок-другой, но именно так оно и случилось – задержка мне досаждала, из себя выводила, словно у меня в срок не поспевало важное дело. Я прошелся по станции, заглянул в буфет, побродил по ближнему полю... Поезда нет как нет, поезд не шел, он даже не показывался – тащился где-то еще слишком далеко. Я вспоминал тюрьму, видневшуюся поодаль за зданием станции; она казалась пустой, а была полным-полна и содержала в себе скопище неудачников, всю жизнь описать не хватит никакой бумаги. Я вспоминал начальника, нашу последнюю встречу. Это был лысый старичок седыми усами и голубыми, как небо, глазами; звали его дон Конрадо. Я любил его как отца, был ему благодарен за слова утешения, которые он всегда находил для меня. Последняя наша встреча состоялась у него в кабинете, куда он меня вызвал.

– Разрешите, дон Конрадо?

– Входи, сынок.

Голос у него был уже надломлен возрастом и болезнями, а когда он называл нас «сынки», как будто еще больше смягчался и даже дрожал на губах. Он велел мне сесть по другую сторону стола, протянул большой кисет из козьей шкуры, вытащил книжечку курительной бумаги и предложил мне и ее тоже.

– Закуришь?

– Спасибо, дон Конрадо. Дон Конрадо засмеялся.

– С тобой лучше говорить, когда побольше дыму, – меньше видна твоя неприглядная физиономия!

Он расхохотался, хохот под конец перешел в кашель, от кашля он задохнулся, лицо вспучилось и покраснело, как помидор. Сунув руку в ящик, он вытащил две

рюмки и бутылку коньяка. Я поразился; он, что верно то верно, всегда хорошо со мной обходился, но такого еще не бывало.

– Что случилось, дон Конрадо?

– Ничего, сынок, ничего... Ну, пей – за свою свободу!

На него опять напал кашель. Я раскрыл рот переспросить:

– За мою свободу?

Но он рукой делал мне знаки, чтобы я молчал. На этот раз кончилось наоборот – кашель перешел в смех.

– Ну да! Везет же вам, жуликам!

И он смеялся, радуясь, что может сообщить мне эту новость, довольный, что может выставить меня за ворота. Если б он только знал, что для меня было б лучше не выходить из тюрьмы! Когда я вернулся в Чинчилию, он признал это со слезами на глазах – глазах, которые только чуть-чуть были голубее слез.

– Ладно, поговорим серьезно! Читай...

Он придвинул ко мне приказ об освобождении. Я глядел и не верил.

– Прочел?

– Да, сеньор.

Дон Конрадо раскрыл папку и вытащил из нее две одинаковые бумажки – удостоверение об отбытии наказания.

– Бери, это тебе. С ним можешь отправляться куда хочешь. Распишись здесь. Кляксу не поставь.

Я сложил документ пополам и всунул его в бумажник... Я был свободен! Что со мной в ту минуту делалось, не могу передать. Дон Конрадо принял серьезный вид; он сказал мне напутствие о честности и добронравии, дал пару советов насчет сдерживания своих порывов, следуя которым я мог бы уберечься от многих крупных неприятностей, и в заключение, под занавес, вручил мне двадцать пять песет от имени Дамского комитета по исправлению заключенных – благотворительного учреждения, созданного в Мадриде для оказания нам помощи.

Он позвонил, вошел надзиратель. Дон Конрадо протянул мне руку.

– Прощай, сынок. Да хранит тебя бог.

Я не помнил себя от радости. Он повернулся к надзирателю.

– Муньос, проводите этого господина к выходу. Но прежде зайдите с ним в канцелярию – ему положено вспомоществование на восемь дней.

Муньоса я никогда в жизни больше не встречал, а с доном Конрадо мы встретились три с половиной года спустя.

Поезд наконец пришел – рано или поздно все в этой жизни приходит, кроме прощения оскорбленных, которое порой, как будто нарочно, отдалается. Я забрался в свое купе и, оттрясая сутки и еще полсуток, прибыл на свою станцию, такую мне знакомую и всю дорогу стоявшую у меня перед глазами. Никто, совершенно никто, кроме всевышнего, не знал, что я приезжаю, и однако, не известно, по какой странной причуде мысли, мне вдруг вообразилось, что перрон забит ликующей толпой, которая приветствует меня поднятыми руками и взмахами платочков и выкрикивает на все четыре стороны мое имя.

Когда я сошел с поезда, острый холод, как кинжалом, пронзил мне сердце. На станции никого не было. Стояла ночь. Начальник, сеньор Грегорио, держа масляный фонарь, с одного боку зеленый, с другого красный, и флажок в жестяном колпачке, дал отправление поезду.

Сейчас он обернется ко мне, узнает меня, поздравит.

– Черт возьми, Паскуаль, это ты!

– Да, сеньор Грегорио. Освободился!

– Ну и ну!

Он отвернулся и, не обращая больше на меня никакого внимания, залез в свою будку. Подумав, что он не понял меня, я отел ему крикнуть: «Освободился, сеньор Грегорио! Я освободился!»

Но, помедлив немного, я отказался от своего намерения.

Кровь стучала у меня в ушах, на глаза чуть было не навернулись слезы. Сеньору Грегорио не было никакого дела до моей свободы.

Я вышел со станции с дорожным сундучком на плече, свернул на тропинку, которая, минуя деревню, напрямик вела к шоссе, где стоял мой дом, и зашагал по ней. Мне было грустно, очень грустно; всю мою радость убил своими грустными слогами сеньор Грегорио; из прошлого мучительным потоком прихлынули мрачные мысли, недобрые предчувствия, которые я тщетно пытался отогнать. Ночь стояла ясная, безоблачная, и посреди неба, как причастная облатка, была приколата луна. Я старался не думать о холоде, который меня пронизывал.

Примерно на полдороге, впереди, по правую сторону от тропинки показалось кладбище; оно лежало на том же месте, где я оставил его, в той же ограде черноватого самана, с высоким кипарисом, который нисколько не переменился, с шипящей соевой в ветках. На этом кладбище отец мой отдыхал от своего бешенства, Марио от своего неведения, жена моя от заброшенности, а Щеголь от великого своего нахальства. На этом кладбище гнили останки двух моих сыновей – выкидыша и Паскуальчика, который прожил всего одиннадцать месяцев и был сущим солнышком...

Мне душу щемило, что я так возвращаюсь в деревню – в одиночестве, ночью и первым делом иду мимо кладбища; похоже, провидению угодно было подсунуть его мне и, видно, с умыслом, чтоб я задумался о нашем людском ничтожестве.

Тень от моего тела все время шла впереди, длинная, очень длинная-длинная, словно призрак; она плотно прижималась к земле и принаравливалась ко всем особенностям пути – то прямо вытягивалась по дороге, то взбиралась по ограде кладбища, будто хотела туда заглянуть. Я пробежал немного – тень пробежала тоже; я остановился – остановилась и тень. Я оглядел небесный свод – на всем его пространстве не было ни единого облачка. Тень шаг за шагом будет идти со мной до самого конца пути.

Меня охватил страх, необъяснимый страх; я вообразил, что скелеты покойников вылезают из могил поглядеть, как я иду. Я не смел поднять голову, ускорил шаг; тело мое как будто потеряло свой вес, сундучок тоже. Я почувствовал в себе столько сил, как никогда. Еще миг – и я ринулся бежать со всех ног, точно удирающий пес; я мчался и мчался, как сумасшедший, как сорвавшийся с цепи, как одержимый. К дому я прибежал при последнем издыхании, больше я не смог бы сделать и шага...

Бросив сундучок на землю, я сел на него. Не было слышно ни звука; Росарио и мать наверняка спят, не зная – не ведая, что я приехал, что я на свободе, что я в двух шагах от них. Может, сестра, ложась в постель, прочитала «господи, помилуй» – свою любимую молитву, чтоб меня скорей освободили! Может, в эту минуту она, грустя по мне, видит во сне, что я лежу в камере на нарах и вспоминаю о ней – единственной искренней привязанности в моей жизни! Может, она вздрагивает, охваченная кошмаром.

А я вот он, тут как тут, на свободе, разделался вчистую, готов начать жизнь заново, утешать ее, лелеять, любоваться ее улыбкой.

Я не знал, что делать. Подумал было постучать, но они испугаются – в такой час никто не стучит, еще и отворить-то не осмелятся. Но оставаться так я тоже не мог, нельзя же дожидаться дня, сидя на сундучке.

По шоссе, громко разговаривая, подходили двое мужчин; голоса беззаботные, веселые; шли из Альмендралехо, наверное, от своих девушек. Вскоре я их узнал – это были Леон, брат Мартинете, и сеньорито Себастьян. При виде их, не знаю уж почему, я поспешно спрятался.

Они прошли очень близко от дома, очень близко от меня; их разговор был отчетливо слышен.

– Видишь, что стряслось с Паскуалем.

– Любой на его месте сделал бы то же самое.

– Вступился за жену.

– Конечно.

– И сидит в Чинчилье, это больше суток на поезде, вот уже три года...

Я ощутил глубокую радость; мне вдруг отчаянно захотелось выскочить из канавы, встать перед ними, обнять их, но я предпочел воздержаться – тюрьма сделала меня спокойнее, обуздала мои порывы.

Я подождал, пока они отойдут. Когда, по моим расчетам, они отошли достаточно далеко, я вылез из канавы и направился к двери. Сундучок оставался там, но они его не заметили. Увидь они его, они подошли бы ближе, и мне пришлось бы выйти и объясняться, а они уверились бы, что я от них прячусь, избегаю их.

Довольно было с меня колебаний; я приблизился к двери и стукнул в нее два раза. Никто не откликнулся. Я подождал несколько минут. Никого. Я снова постучал, на этот раз сильнее. В доме засветилась лампа.

– Кто?

– Это я!

– Кто я?

Это был голос матери. Зачем врать – я обрадовался, услышав его.

– Я, Паскуаль.

– Паскуаль?

– Да, мать, Паскуаль.

Мать отперла дверь; при свете лампы она походила на ведьму.

– Тебе чего?

– Как чего?

– Ну да, чего?

– Войти. Чего же еще?

Она держалась странно. Почему она так держалась со мной?

– Что с вами, мамаша?

– Ничего, а что?

– Да нет, вы вроде остолбенели.

Готов утверждать, что мать нисколько не радовалась моему появлению. Старая ненависть зашевелилась во мне с новой силой. Я старался отогнать ее, отмахивался от нее.

– А Росарио?

– Ушла.

– Ушла?

– Да.

– Куда?

– В Альмендралехо.

– Опять?

- Опять.
- Спуталась с кем?
- Да!
- С кем?
- Да тебе-то что?

Мир словно собирался рухнуть мне на голову. Я плохо видал; я подумал, что все это мне снится. Мы недолго помолчали.

- Почему она ушла?
 - Ушла вот.
 - Не хотела подождать меня?
 - Не знала, что ты скоро вернешься. Она все время тебя вспоминала...
- Бедная Росарио, какая она хорошая и что за разнесчастная у нее жизнь!
- Вам нечего было есть?
 - Случалось.
 - Потому она и ушла?
 - Кто ее знает!

Мы опять помолчали.

- Ты видишься с ней?
- Да, она часто приходит. Он ведь тоже тут живет.
- Он?
- Да.
- Кто он?
- Сеньорито Себастьян.

Я подумал, что умираю. Я б деньги заплатил, чтоб очутиться снова в тюрьме.

(18)

Росарио, едва проведала о моем возвращении, пришла со мной повидаться.

- Вчера услышала, что ты вернулся. Ты представить себе не можешь, до чего я обрадовалась!

Как приятно мне было слышать ее слова!

- Представляю, Росарио, по себе знаю. Ведь мне самому хотелось снова тебя увидеть!

Мы чинились, как будто десять минут назад познакомились. Оба старались держаться как ни в чем не бывало. Немного погодя я спросил, чтоб поддержать разговор:

– Как получилось, что ты опять ушла?

– Ушла и все.

– Так трудно было?

– Нелегко.

– Не могла подождать?

– Не захотела.

Голос у нее сделался хриплый.

– Желания не было снова горе мыкать.

Этим все объяснялось. Бедняжка и без того хлебнула его вдосталь.

– Бросим этот разговор, Паскуаль.

Она улыбалась мне своей всегдашней улыбкой, грустной и какой-то приниженной; так улыбаются хорошие люди, которым в жизни не повезло.

– Поговорим о другом... Знаешь, я подыскала тебе невесту.

– Мне?

– Да.

– Невесту?

– Ну да. А что? Тебя это удивляет?

– Да нет... Только странно. Кто меня полюбит?

– Да любая... Ведь люблю же тебя я!

Изъявление сестриной любви, хоть я и знал о ней, было мне приятно, ее забота подыскать мне невесту тоже. Пришло же ей в голову!

– А кто она?

– Племянница сеньоры Энграссии.

– Эсперанса?

– Да.

– Пригожая девушка!

– Любит тебя еще с той поры, когда ты не был женат.

– И ни словом не обмолвилась!

– Что ты хочешь, у каждой свой нрав.

– А ты, что ты ей сказала?

– Ничего. Что когда-нибудь ты же вернешься!

– И я вернулся...

– Слава богу!

Невеста, которую мне присмотрела Росарио, и впрямь была красивая женщина. Не того типа, что Лола, скорее наоборот, где-то посерединке между ней и женой Эстевеса, и притом складом лица, если взглядеться, она напоминала мою сестру. Тогда ей сравнялось уже тридцать лет, а то и тридцать два, но по ней это трудно или даже совсем нельзя было сказать, так хорошо она сохранилась и так молодо выглядела. Была она сильно верующая и как бы устремленная к потустороннему, что в наших краях редкость, и жила как живет, вроде цыган, но только в мыслях неизменно держала одно: «К чему менять? Так на небесах написано!»

Она жила на бугре с теткой, сеньорой Энграсией, сводной сестрой своего покойного отца, потому что осталась круглой сиротой в раннем детстве, и так как от рождения была покладиста и несмелого нрава, никто никогда не видал и не слышал, чтоб она с кем-нибудь спорила, и тем более со своей теткой, которую очень почитала. Ходила она опрятнее многих, цветом лица была точь-в-точь яблоко и, когда спустя недолгое время стала моей женой – моей второй женой, завела такой порядок у меня в доме, что во многом он сделался просто неузнаваем.

В тот первый раз, когда я встретился с пей с глазу на глаз, нам обоим было сильно не по себе; мы знали, о чем у нас пойдет разговор, поглядывали друг на друга украдкой, будто один другого выслеживал.

Мы были наедине, но это ничего не меняло; мы пробыли наедине целый час, и с каждой уходящей минутой начать разговор казалось все труднее. Она первая открыла огонь:

– Ты пополнел.

– Может...

– И лицом стал бледнее.

– Говорят...

Я все силы в себе напрягал, чтоб показать себя приветливым и разговорчивым, но ничего не получалось; я как оступел, как расплющился под какой-то тяжестью, давившей меня, но и оставшейся у меня в памяти как одно из самых приятных ощущений моей жизни, ощущений, с которыми мне было всего больней расставаться.

– Хорошо в том краю?

– Плохо.

Она задумалась. Кто знает, о чем она думала!

– Ты часто вспоминал Лолу?

– Вспоминал. Зачем врать? Я целыми днями только тем и занимался, что думал, так что всех вспоминал. Даже Щеголя!

Эсперанса слегка побледнела.

– Я очень рада, что ты вернулся.

– Да, Эсперанса, а я рад, что ты меня ждала.

– Тебя ждала?

– Да, а разве ты не ждала меня?

– Кто тебе сказал?

– Сказали. Все известно!

У нее задрожал голос, и его дрожь тут же передалась мне.

– Это Росарио?

– Да. А что в этом плохого?

– Ничего.

На глазах у нее выступили слезы.

– Что ты подумал обо мне!

– А что мне думать? Ничего!

Я медленно наклонился к ней и поцеловал ее руки. Она их не отнимала.

– Я такой же свободный, как и ты, Эсперанса.

– Свободный, как в двадцать лет. Эсперанса робко глядела на меня.

– Я не старик еще, мне о живом надо думать.

– Да.

– О том, как наладить работу, дом, жизнь... Ты вправду меня ждала?

– Да.

– Что ж ты не говоришь мне об этом?

– Но я же сказала.

Это верно, она сказала, но мне сладко было заставить ее повторить.

– Скажи еще раз.

Эсперанса покраснела, как перец. Голос у нее прерывался, и губы и крылья носа дрожали, как листья под ветром, как горло щегла, что упивается солнцем.

– Я ждала тебя, Паскуаль. Я каждый день молилась, чтоб ты поскорей вернулся. Бог меня услышал.

– Это верно.

Я снова стал целовать ей руки. Я весь как бы сник. Я не смел поцеловать ее лицо.

– А ты бы... ты бы...

– Да.

– Ты знаешь, что я хотел спросить.

– Да. Не договаривай.

Она вся вдруг расцвела, точно заря.

– Поцелуй меня, Паскуаль...

Голос у нее изменился, приглож и как бы осип.

– Довольно я тебя ждала.

Я целовал ее жарко, крепко, с нежностью и уважением, каких никогда не испытывал ни к одной женщине, и так долго, так долго, что, когда я оторвал от нее губы, в душе у меня успела зародиться самая преданная любовь.

(19)

Мы были женаты уже два месяца, когда стал я замечать за матерью прежние замашки и те же хитрости, что и до моего заключения. Во мне кровь вскипала от ее угрюмой, холодной повадки, от ее колючих, вечно с подковыркой разговоров, от голоса фистулой, каким она со мной говорила, лживого, как и вся она до мозга костей. Жены моей она духу не выносила, хоть волей-неволей должна была с ней мириться – ничего не поделаешь! – и так мало скрывала свою неприязнь, что, натерпевшись досыта, Эсперанса однажды поставила передо мной вопрос ребром, и мне стало ясно, что единственное ему решение: перегородиться землей. Перегородиться землей – говорят про двоих, что разъезжаются по разным деревням, но, если поразмыслить, то же можно сказать и в случае, когда от ходячего до лежащего двадцать локтей земли в глубину...

Мысль об отъезде приходила ко мне не раз, я подумывал о Ла-Корунье, о Мадриде или – что поближе – о столице провинции, но беда в том, что я, то ли по трусости, то ли по недостатку решимости, все откладывал это дело и до того до-откладывался, что, когда пустился наконец в путь, мне уж не от кого было отгораживаться землей, кроме себя самого и своих воспоминаний...

Только вот земли не хватало скрыться от моей вины, земля не настолько велика и обширна, чтоб, переменяв место жительства, не слышать вопля собственной совести...

Я хотел отгородиться землей от своей тени, своего имени и воспоминаний, даже от своей кожи, но много ли останется от меня без тени и воспоминаний, без имени и кожи?

В иных случаях лучше бы нам разом стираться из жизни, исчезать вдруг, как сквозь землю проваливаясь, растворяться в воздухе, как дым. Так не бывает, но если б бывало, мы превращались бы в ангелов, выбирались из пучины

преступлений и греха, освободились от этого излишнего бремени испорченного мяса, о котором, заверяю вас, мы ни за что больше не вспомнили б – такой оно внушает ужас, – не будь того, что постоянно кто-нибудь заботится, чтоб мы о нем не забыли, кто-нибудь трясет своими отбросами, уязвляя обоняние нашей души. Ничто не смердит сильнее и зловонней, чем совесть, изъеденная проказой дурного прошлого, чем язва сожаления, что, не удалившись вовремя от зла, мы гнием в свалке погибших, не успевши расцвести, надежд, в каковую – и давно уже! – превратилась наша жалкая жизнь!

Мысль об убийстве, как все наихудшие наши наваждения, подбирается исподволь, неслышным волчьим шагом, змеиным ползком. Те мысли, что переворачивают нашу жизнь, вообще не приходят внезапно; внезапное губит лишь отдельные минуты, но, промчавшись, оставляет нам долгие годы жизни. Замыслы, от которых мы безумеем худшим из безумий – безумием тоски, всегда подкрадываются постепенно и незаметно, как туман на поля или чахотка на легкие. Надвигаются они неотвратно, неустанно, но медленно, неторопливо, размеренно, как бьется сердце. Сегодня мы не замечаем их, может, не заметил и завтра, и послезавтра, и целый месяц. Но месяц ми-повал, мы чувствуем, что есть нам горько, вспоминать больно – недуг проявился. Идут дни и ночи, мы делаемся замкнутыми, нелюдимыми; в голове у нас вызревают мысли, за которые снесут нам голову, где они вызрели, кто знает, может для того, чтоб прекратить чудовищную ее работу. Бывает, что целые недели проходят без перемен, и окружающие привыкают к нашей угрюмости и уже не удивляются удивительному нашему поведению. Но зло вдруг подрастает, как дерево, наливается соками, и мы уже не здороваемся с людьми, а им снова кажемся странными или влюбленными. Мы худеем, худеем, торчавшая борода вяло обвисает. От ненависти заходится сердце, мы не выносим чужого взгляда, совесть нас терзает, но неважно, тем лучше, пусть терзает. Глаза воспаляются – ядовитая слеза наполняет их, когда мы глядим пристально. Враг замечает, что ненависть в нас клокочет, но он самонадеян – чутье не лжет. Беда весела, гостеприимна, и любое народившееся чувство мы с радостью впускаем ползти по огромному засыпанному битым стеклом пустырю нашей души. Когда мы шарахаемся от чего ни возьми, как косуля, когда настороженный слух вспугивает наши сны, зло, значит, полностью нами завладело, выхода нет, исцеление невозможно. И мы падаем, падаем неудержимо, с неопикуемой быстротой, и в жизни нам уже не встать. Разве что приподнимемся в самую последнюю минуту, перед тем как головой ввергнуться в преисподнюю... Страшный недуг.

Мать с неослабным удовольствием испытывала мой нрав, где зло плодилось, как мухи, слетевшиеся на запах падали. Проглоченная горечь отравила мне сердце; в голове забродили такие мысли, что я сам стал опасаться своей гневливости. Мать я не хотел и видеть. Дни ползли, похожие один на другой – та же боль, засевшая внутри, те же предвестья бури, туманящие взгляд.

В тот день, когда я решил прибегнуть к оружию, я так был подавлен, так уверен, что обагрю его не к добру, что сама мысль о смерти моей матери ни на йоту не

выбивала мой пульс из ритма. Просто это было нечто роковое, чему суждено наступить и что наступило, а я был всего исполнителем и избежать этого не мог, даже если б захотел, потому что мне казалось невозможным передумать, пойти на попятный, избежать того, за что теперь я руку б отдал, чтоб его не было, а тогда сам вызывал и готовил не менее расчетливо и вдумчиво, чем ухаживает за своим полем, на котором высеяна пшеница, крестьянин.

Все уже было готово. Я не спал ночи напролет, думая об одном и том же, чтобы подбодрить себя, набраться сил; наточил охотничий нож с длинным широким клинком, похожим на кукурузный лист, с желобком посередине, с перламутровой рукояткой, придававшей ему вид боевого кинжала. Оставалось назначить день и тогда уж не колебаться, не пятиться, во что бы то ни стало дойти до конца, сохранить хладнокровие... а потом разить, разить без пощады, быстро, и бежать, бежать очень далеко, в Ла-Корунью, бежать туда, где никто ни о чем не узнает, где мне позволено будет жить в покое, надеясь, что люди обо мне позабудут – позабудут и дадут начать жизнь заново.

Совесть меня мучить не станет – нету причины. Совесть мучит только за совершенные нами несправедливости – за побитого ребенка, за сшибленную ласточку. А за те дела, на которые ведет ненависть, на которые идешь как одурманенный одной неотвязной мыслью, за них нам никогда не приходится каяться, совесть не мучит нас никогда.

Наступило 10 февраля 1922 года. 10 февраля выпало в том году на пятницу. Погода, как положено в эту пору, стояла ясная, солнце светило вовсю, и мне помнится, что ребятишек, игравших в шарики и бабки, было в тот день на площади больше, чем обычно. Меня брало раздумье, но я постарался овладеть собой, и мне это удалось. Пойти на попятный было для меня никак невозможно, было бы моей гибелью, привело б меня к смерти, чего доброго к самоубийству – могло тем кончиться, что я оказался бы на дне Гуадианы, под колесами поезда... Нет, отступить нельзя было, надо было идти вперед, только вперед, до конца. Теперь уж для меня это был вопрос чести.

Жена, видно, что-то во мне заметила.

– Что ты собираешься делать?

– Ничего. А что?

– Не знаю, какой-то ты странный.

– Выдумываешь.

Я поцеловал ее, чтобы успокоить; поцеловал в последний раз. Тогда я этого знать не знал; если б знал, содрогнулся бы.

– Почему ты меня целуешь? Я так и застыл.

– А почему бы мне тебя не поцеловать?

Ее слова заставили меня призадуматься. Казалось, она понимала, к чему идет дело, обо всем догадывалась.

Солнце закатилось там же, где всегда. Стемнело. Мы поужинали. Они легли. Я, как обычно, остался у очага, вороша угли. В кабачок Мартинете я давно уже не заглядывал. Настал час – час, которого я столько дожидался. Теперь – забрать сердце в кулак, кончить быстро, как можно быстрее. Ночь коротка, а за ночь все должно совершиться, и рассвет должен застать меня за много лиг от деревни.

Я прислушался. Ни звука. Зашел в комнату к жене – она спала и пусть себе спит. Мать, наверняка, спит тоже. Я вернулся на кухню, разулся; пол был холодный, камешки впивались в подошвы ног. Я вынул нож, засверкавший от огня, как солнце.

Она лежала, завернувшись в простыни, лицом глубоко уткнувшись в подушку. Мне только и надо было что кинуться на нее и всадить нож. Она не ворохнетя, ни разу не вскрикнет, не успеет... Ее уже достать рукой, а она крепко спит и знать не знает – господи, жертва никогда не ведает своей участи! – о том, что с ней будет. Я собрался с духом, но ничего не получалось, уж и руку было занес – но рука опять упала, как плеть.

Я подумал закрыть глаза и колоть. Нет, так нельзя: колоть вслепую все равно что не колоть, рискуешь заколоть пустоту... Колоть надо с широко раскрытыми глазами, ощущая удар всеми пятью чувствами. И успокоиться, сохранять спокойствие, а то от вида тела матери я как будто начал его терять. Время шло, а я все стоял без движения на одном месте, точно статуя, не решаясь кончать. Я не смел – как-никак она мне мать, женщина, которая родила меня на свет, и за одно это ее нужно простить... Нет, я не мог простить ее за то, что она меня родила. Пустив меня в мир, она ничем мне не удружила, совершенно ничем. Нечего терять зря время, надо решиться, и дело с концом. Был момент, когда я как заснул на ногах, с ножом в руке, словно само преступление во плоти... Я старался овладеть собой, собраться с силами, сосредоточить их. Меня сжигало желание быстро, как можно быстрее кончить и бежать прочь куда глаза глядят, пока не свалюсь. Я изнемогал; уже долгий час я стоял подле нее, как будто охранял ее, оберегал ее сон. А я ведь шел убить ее, уничтожить, лишить жизни ударами кинжала!

Пожалуй, я простою так еще час. Нет, определенно нет, я не мог, это было свыше моих сил, это мне душу переворачивало. Я подумал уйти. Ну, а вдруг, выходя, я зашумлю; она проснется, узнает меня! Нет, уйти я тоже не мог; погибель была неминуема... Единственный выход из положения – бить, бить без жалости, быстро, чтобы покончить как можно скорей.

Но бить я тоже не мог... Я как завяз в трясине, куда мало-помалу проваливался, безнадежно и неотвратно. Грязь доходила мне уже до шеи. Я потону, как котенок... Убивать я был совершенно не в состоянии, меня как паралич разбил.

Я сдвинулся с места, чтобы уйти. Пол заскрипел. Мать повернулась на кровати.

– Кто тут?

Теперь уж действительно выхода не было. Я набросился на нее и прижал к кровати. Она напряглась, вывернулась... Ей даже удалось схватить меня за горло. Она вопила, как окающая. Мы сцепились в борьбе; это была самая отчаянная борьба, какую можно себе представить. Мы рычали, как дикие звери, изо рта у нас текла слюна... Катаясь по кровати, я заметил жену, которая стояла в дверях, белая как мертвец, не смея войти. В руке она держала лампу, и при ее свете я увидел лицо матери, лиловое, как ряса назарейца... Мы продолжали бороться; одежда на мне была изорвана, грудь наружу. Обреченная была покрепче самого черта. Чтобы утихомирить ее, мне пришлось пустить в ход всю свою силу. Раз пятнадцать я хватал ее, и всякий раз она вырывалась. Она царапалась, отбивалась ногами и кулаками, кусалась. На миг ей удалось поймать ртом мой сосок – левый, и она вырвала его из моего тела зубами, но в тот же самый миг я изловчился всадить клинок ей в глотку...

Кровь хлынула потоком и хлестнула меня по лицу. Она была горячая, как утроба, и на вкус все одно что овечья.

Я бросил ее и кинулся бежать. На пороге я налетел на жену; лампа погасла. Я выскочил в поле и бежал, бежал без остановки несколько часов подряд. В поле было свежо, и по моим жилам прошло что-то вроде облегчения.

Я продохнул...

ЕЩЕ ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА

Рукопись Паскуаля Дуарте на этом кончается. Удавили его со следующей строки или у него осталось время описать новые подвиги, но они затерялись – этого мне, как я ни старался, выяснить не удалось.

Лицензиат дон Бенигно Бонилья, хозяин альмендралехской аптеки, где я нашел, как говорил уже, то, что переписано мной на предыдущих страницах, оказал мне всяческое содействие в дальнейших розысках. Аптеку я вывернул, как чулок, заглянул даже в фарфоровые банки, за бутылки, на и под шкафы и в ящик с питьевой содой. Я назубок выучил разные пышные названия, как-то: мазь сына Сакариаса, волопаса и свинопаса, камедно-смоляная, свиное тесто, лавро-ягодная, милосердная, против копытки шерстистого скота; накашлялся я от горчицы, натошнило меня от валерианы, наплакался я от нашатыря, но сколько ни рылся и как ни молил святого Антония послать мне под руку нечто, это нечто, надо полагать, не существует, потому что я на него так и не наткнулся.

Полное отсутствие сведений о последних годах жизни Паскуаля Дуарте вызывает немалую досаду. Если сделать нехитрый расчет, представляется очевидным, что, попав снова в тюрьму Чинчили (это вытекает из его собственных слов), он пробыл там до 35-го или даже до 36-го года. Следовательно, под чертой можно записать, что он вернулся из заключения до того, как началась война. Но нет никакой возможности установить что-либо о его деятельности в период 15-дневной революции, свершившейся в его деревне; если исключить убийство сеньора Гонсалеса де ла Ривы, коего наш герой был признанным и уличенным

автором, нам больше ничего, абсолютно ничего не удалось о нем разузнать, и, кстати говоря, даже о его преступлении мы знаем только то, что оно было непоправимо и очевидно, но нам неизвестны – потому что Паскуаль уперся и молчал, изволя раскрывать рот лишь в исключительно редких случаях, – мотивы, которыми он руководствовался, и побуждения, которые его одолели. Вероятно, если бы его казнь несколько отсрочилась, он подошел бы в своих мемуарах к этой теме и досконально ее разработал, но этого не случилось, и пробел, зияющий у конца дней его, может быть заполнен лишь чисто литературным вымыслом, что было бы несовместимо с сугубой достоверностью этой книги.

Письмо Паскуалья Дуарте дону Хоакину Баррере по времени написания следует отнести к периоду создания XII и XIII глав – единственных глав, написанных фиолетовыми чернилами, идентичными чернилам письма упомянутому сеньору; это доказывает, что Паскуаль окончательно не прерывал своего рассказа, как он уверяет, и заготовил письмо с расчетом, что в должное время оно произведет свое действие, – предосторожность, представляющая нам героя не таким уж беспамятным и огорошенным судьбой, как может показаться с первого взгляда. Что совершенно ясно, так это то, каким образом связка бумаг попала из Бадахосской тюрьмы в дом сеньора Барреры в Мериде, потому что об этом рассказывает нам капрал жандармерии Сесарео Мартин, взявший на себя их пересылку.

Стараясь по мере возможности прояснить последние минуты жизни нашего героя, я обратился с письменным запросом к дону Сантьяго Луруэнье, бывшему капеллану Бадахосской тюрьмы, а ныне приходскому священнику в Магаселе (Вада-хос), и дону Сесарео Мартину, в свое время рядовому жандармерии при Бадахосской тюрьме, а теперь в чине капрала начальнику поста в Ла-Весилье (Леон), – лицам, которые по долгу службы находились рядом с преступником в момент, когда подошел его срок заплатить долг правосудию.

Вот их письма.

Магасела (Бадахос),

9 января 1942 г.

Досточтимый и многоуважаемый сеньор.

Сию минуту я получил с явным запозданием ваше любезное письмо от 18-го числа прошлого месяца и 359 страниц на машинке, содержащих воспоминания злосчастного Дуарте. Все это переслал мне нынешний капеллан Бадахосской тюрьмы дон Давид Фрейре Ангуло, в давние юношеские годы товарищ вашего покорного слуги по Саламанкской семинарии. Вскрыв конверт, сразу же пишу вам для успокоения моей совести эти строки, а продолжение, если богу угодно, оставлю до завтра, когда прочту, следуя вашим наставлениям и собственному любопытству, приложенную пачку листков.

(Продолжаю 10-го числа.)

Только что прочел залпом (хотя, если верить Геродоту, этот образ чтения предосудителен) признания Дуарте. Вы не можете себе представить, какое глубокое они произвели на меня впечатление, какой резкий след, какую неизгладимую борозду оставили в душе. Силы впечатления не умаляет и то, что ваш покорный слуга с радостью пахаря, собирающего драгоценнейшую жатву, принял последнее покаяние этого человека, которого большинство, вероятно, сочтет гиеной (как было и со мной, когда меня вызвали к нему в камеру), а между тем, проникнув в глубь его души, можно узнать, что был он всего лишь кротким агнцем, которому жизнь внушала робость и страх.

Смерть его в том, что касается подготовки, была образцом христианской кончины, и лишь в последний свой час, когда присутствие духа ему изменило, он впал в некоторое смятение. Это причинило душе бедняги страдания, от которых он был бы избавлен, если бы проявил больше мужества. Духовные дела он отправил с уверенностью и спокойствием, меня поразившими, и, когда наступила минута выводить его во двор, провозгласил перед всеми: «Да будет воля господня», изумив нас своим поучительным смирением. Жаль, что враг похитил у него последние мгновения, ибо, не будь этого, его кончина, вне всякого сомнения, могла бы почесться за святую. Она явилась примером для всех нас, бывших ей свидетелями (при том, что умирающий, как я сказал уже, потерял самообладание), я же из всего виденного извлек уроки, полезные мне для милосердного врачевания душ, Уповаю, что господь упокоил его в своем святом лоне!

Примите, сеньор, заверение в самом сердечном расположении и привет от вашего смиренного С. Луруэньи, священника.

P. S. Сожалею, что не имею возможности выполнить вашу просьбу относительно фотографии, и не знаю, куда вам присоветовать обратиться.

Это одно письмо. А вот другое.

Ла-Весплья (Леон),

12.1.42

Уважаемый сеньор.

Настоящим подтверждаю получение вашего письма от 18 декабря прошлого года и надеюсь, что в данный момент вы пребываете в столь же добром здравии, как и вышеуказанного числа. Я, благодарение богу, здоров, хотя начисто закоченел в здешнем климате, какого не пожелаю и самому отъявленному бандиту. Перехожу теперь к сообщению по интересующему вас вопросу, не видя к тому

препятствий служебного характера, при наличии каковых я, с вашего позволения, не вымолвил бы ни слова.

Упомянутого Паскуаля Дуарте, о котором вы пишете, я помню – за длительный период времени это был самый знаменитый арестант, какого нам довелось охранять. Что голова у него была в порядке – за это не поручусь, хотя бы мне посулили Эльдорадо, потому что он выкидывал такие штуки, которые ясно свидетельствовали о его недуге. Пока он не исповедовался, все шло хорошо, но стоило ему один раз исповедаться, как у него начались терзания и угрызения совести и он надумал избавиться от них покаянием. Вот и получилось, что по понедельникам – за убийство матери, по вторникам – потому, что в этот день он убил господина графа Торремехия, по средам – за убийство еще кого-то, одним словом, по полнедели кряду бедняга по доброй воле постился, не беря в рот куска, и так сильно исхудал, что, на мой взгляд, палачу не надо было особо стараться, чтоб свести у него на глотке тиски. Преступник целыми днями писал, как в лихорадке, и, поскольку беспокойства от него не наблюдалось, начальник по доброте сердца приказал нам доставлять заключенному все, что требуется для его писаний, и он без роздыха изливал свою душу. Как-то он подозвал меня, показал письмо в незаклеенном конверте (чтобы вы могли прочесть, если пожелаете, сказал он мне), адресованное дону Хоакину Баррере Лопесу в Ме-риде, и – я так и не разобрал – то ли попросил меня, то ли приказал:

– Когда меня уведут, возьмите это письмо, соберите поаккуратнее все эти бумаги и отошлите все вместе этому сеньору, поняли?

Потом он добавил, так таинственно глядя мне в глаза, что меня пробрала дрожь:

– Бог заплатит вам за это, я его попрошу!

Не видя в том худого, я исполнил его просьбу, потому что привык уважать последнюю волю усопших.

Что касается его смерти, скажу вам одно: она была самой обыкновенной и жалкой. Поначалу он пыжился и с шиком объявил перед всеми: «Да будет воля господня!», так что мы дало опешили, но очень скоро позабыл о всяких приличиях. При виде эшафота он лишился сознания, а когда очнулся, завопил, что не хочет умирать и что с ним не имеют права это делать, так что к табуретке его пришлось тащить волоком. Тут он в последний раз поцеловал распятие, что протянул ему тюремный капеллан отец Сантьяго, поистине святой человек, и затем окончил свою жизнь самым что ни на есть низким и постыдным образом, плюясь и брыкаясь безо всякого уважения к окружающим и всем открывая свой страх перед смертью. Прошу вас, когда книги напечатают, пришлите мне, если можно, не одну, а две – вторую для нашего лейтенанта, который обещал мне, что оплатит вам посылку наложенным платежом, если вы не возражаете. Надеюсь, что удовлетворил вашу просьбу, к сему остаюсь с уважением, всегда готовый к услугам

Сесарео Мартин

Ваше письмо дошло до меня с запозданием, и по этой причине получилась такая разница в датах. Мне переслали его из Бадахоса, и я получил его только 10-го числа текущего месяца, в субботу, то есть позавчера. С приветом.

Что я могу еще добавить к сказанному этими господами?

Мадрид, январь 1942 года.